

Владимир Шапко

Настольная памятка по редактированию замужних женщин и книг

Роман

16+

Владимир Макарович Шапко

Настольная памятка

по редактированию

замужних женщин и книг

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64306076
SelfPub; 2021*

Аннотация

Роман о небольшом издательстве. О его редакторах. Об авторах, молодых начинающих, жаждущих напечататься, и маститых, самодовольных, избалованных. О главном редакторе, воюющем с блатным графоманом. О противоречивом писательско-издательском мире. Где, казалось, на безобидный характер всех отношений, случаются трагедии...

Содержание

Глава первая	6
1	6
2	11
3	20
4	26
5	35
6	40
Глава вторая	45
1	45
2	56
3	61
4	67
Глава третья	73
1	73
2	78
3	85
4	91
5	101
6	105
Глава четвёртая	110
1	110
2	119
3	126

4	133
Глава пятая	141
1	141
2	145
3	149
4	153
5	162
Глава шестая	166
1	166
2	173
3	179
4	184
5	190
Глава седьмая	196
1	196
2	202
3	210
4	216
5	226
Глава восьмая	229
1	229
2	234
3	238
4	240
5	245
6	250

7	255
Глава девятая	259
1	259
2	264
3	268
4	276
5	281
Глава десятая	285
1	285
2	290
3	293
4	300
5	309

Владимир Шапко

Настольная памятка по редактированию замужних женщин и книг

Глава первая

1

Яшумов устало снимал в прихожей зимние ботинки. Сначала левый. Затем правый. Снял шапку. Прицелился, кинул на олений рог. Довольно ловко. Не промахнулся.

Бездумно посидел. Поднялся, вошёл в гостиную.

На столе под светом люстры было брошено женское чаепитие. Как всегда – неприглядное. Пустые чашки с лапками ложек кверху походили на побитых цыплят. На целый побитый выводок. Толстый торт резали как попало. Почему-то кухонным длинным ножом. (Сверху, что ли, рубили?) Сам нож-палач валялся здесь же. Как пьяный. Весь в креме, в крошках... Это называется – попили сороки чайку. Хорошо, что без бутылок сегодня. Без пепельниц, без сигарет. Ку-

рильщицы и выпивохи Гулькиной, значит, не было.

Принялся собирать и уносить всё на кухню. Труп торта забил в холодильник. Остальное мыл под лейкой в раковине. Зло протирал блюда и чашки. До хруста фарфора, до плача. С полотенцем походил на обиженного бармена за стойкой.

– Ты уже дома? Извини, не успела убрать. Девочек проводжала до метро.

«Не успела» она. Седьмой час вечера. Целый день просидела с подругами. Конечно, все дружно удрали из своего бибколлектора.

Освобождается от тёплой кофты по колено. Женская зимняя шапка на голове – как шалаш Ильича, по меньшей мере. В Разливе.

Но о чём можно было столько времени трещать? Уму непостижимо!..

...Ещё на лестнице почувствовала – дома. Наверняка на кухне. Точно. Уже работает. Помыл, теперь протирает блюда и чашки. Лицо – в сторону. В упор не видит жену. Раздевшись, попыталась забрать полотенце и чашку. Какой там! Локти выставил. Как мальчишка. Ни за что не отдам! Лишь бы повод был надуться.

Сидела в кухне. Рядом с обиженным. Изображала заботливую жену. Пододвигала еду. Всё время молочник со сметаной. Участливо расспрашивала о работе. Как там Акимов? Опять доставал? Однако дундук кривил губы. На всё – односложно: да, нет. И косит, главное, опять в сторону. Ну, чего

там увидел? Мартышку свою на календаре? Или петуха рядом? Расфуфыренного? Всю кухню календарями оклеил. И ведь не снять. Не содрать со стен. Не даёт. Как за кровное, за календари свои хватается. Три года назад таким не был. Стены кухни были в красивый цветочек. Теперь всё заклеил.

Яшумов ел. Вчерашние сырники. Жена раздражала. Жена на глазах превращалась в *эту женщину*. Которая непонятно как тут оказалась. В его кухне. В его квартире. А ведь когда-то он любил её. После загса в свадебном лимузине даже целовал. При всех, кто ехал в длинной машине. Один раз, если пошло выразиться – поцеловал *взасос*. Захотелось даже высунуться из окна и прокричать что-нибудь дикое. Как это делают молодые. Но вовремя одумался. Словом – любил. А теперь риторика без ответа: правда ли, что это всё было с ним, Яшумовым?

Косился. На эту женщину. Шапка волос вокруг лица и лба – будто чёрная муравьиная армия. Как можно добиться такой густоты муравьёв? Три года назад были локоны. Притом жёлтого цвета. Полное перевоплощение. Этой Женщины. И ещё лезет. Всё время двигает молочник. Ну вот – опрокинула. Жидкая сметана хлынул на живот. На выходные брюки. А?

– Сейчас я! сейчас! не вставай!

Работает полотенцем на животе, на брюках. Старается. А? Куда я теперь? Не успел переодеться в домашнее. Идиот.

– Да дай тряпку! Я сам.

Пошёл в ванную. Снял брюки, бросил в машинку. Туда же рубашку. Вернулся. В майке и трусах, носки на ногах – шахматные. Жених. Прошу любить и жаловать!

Уселся. Упорно доедал сырники. Кидал по одному в молочник и оттуда вычерпывал. Большой ложкой. Будто прямо сейчас разучился культурно есть!

Женщина молчала. И Эта женщина, и не Эта.

– Хорошо, Жанна. Прости. Сам виноват. Нужно было переодеться.

Вскочила, сзади обняла, прижала голову. Где-то вверху глубоко задышал катарсис. Мяла лицо. Обеими руками. Работала вслепую. Скульптор Мухина. Что-то должно получиться. Рабочий с молотом. Как мог, удерживал: «Ну-ну, успокойся. Прости». Но всё равно мяли. Ещё сильнее.

– Да хватит, Жанна, хватит! – грубо оттолкнул руки.

Женщина раздувала ноздри. Женщина не знала уже, что сделать ещё, чтобы этот козёл относился к ней по-человечески.

Тем не менее после ужина как ни в чём не бывало сидели на диване перед телевизором. Голова с чёрным муравейником уютно устроилась чуть ниже плеча мужчины.

Показывалось удивительное зрелище. За катером по реке летел на доске мясистый бульдог. Серьёзный, бесстрашный. Непонятно как, но держался на голой доске. Впечатав в доску все четыре лапы.

Жанна начала смеяться, фыркать. Яшумов серьёзно пояс-

нял:

– Есть люди, занимающиеся этим. Есть даже редкая специальность: *инструктор по сёрфингу для собак*. Эти люди обучают братьев наших меньших освоить доску для движения по волнам.

Жанна начала подкидываться. Но Яшумову мало:

– Есть ещё одна редкая специальность у мужчин. *Продавец слёз*. Это специальный плакальщик в азиатских странах. Который работает на похоронах. Его зарплата зависит от интенсивности плача и драматургии действия. Больше всех получает человек, который громко рыдает, рвёт на себе одежду и падает от «горя» на землю.

Жанна встала, согнулась в три погибели и пошла из комнаты, дёргая ногами у живота. Видимо, в туалет.

2

В полной тьме запикал будильник. Шарила, шарила по тумбочке. Придавила.

Лежала, приходила в себя. Сегодня у зануды библиотечный день. Должен быть дома, лежать рядом. Но рука чувствовала только холодную простыню. Ни свет ни заря смылся на работу. Как всегда. Чтобы пялиться из окна на свою зимнюю Мойку. Делать всякие селфи на фоне её. Или вовсе – пойти на канал Грибоедова и стоять на мосту о четырёх львах. Принимать вместе со львами энергию космоса. Рассказать девчонкам – не поверят.

После всех туалетов в ванной – быстро одевалась. Кот мяукал, путался под ногами. Сыпанула ему в чашку.

Быстро ела завтрак. Приготовленный занудой. Опаздывала. До коллектора хоть и на метро, но нужно прогнать четыре остановки. А другой зануда – Шубин – ох не любит, когда «его девушки» опаздывают. На входе всегда стоит. Усатый, строгий. Как швейцар.

Скатывалась по лестнице с четвёртого этажа. Лестница широкая, но старуха Тихомирова всё равно шаррахнулась к стенке. Прижала к груди свою моську. В тёплом жилетике и пинетках.

– Здравствуйте, Марья Николаевна! Как наша Берточка сегодня?

Успела даже сделать Берточке «козу»: «Ах ты моя милая!»

– Р-рииии! – ответила собачонка...

...Яшумов стоял у окна, смотрел со второго этажа на зимнюю Мойку. Пепельно-голубой гладкий лёд в реке походил на стиснутое небо, упавшее меж берегов. Дома на левой стороне от изморози и солнца стояли белыми, слепыми.

Захотелось сфотографировать (*сфоткать!*) это редкое для Петербурга погожее утро. Небесный лёд, осолнеченные дома.

Достал телефон. Начал отстранять от себя, выцеливать, наводить. Но сзади зазвонил редакционный.

Пришлось вернуться к столу. Снял трубку. Галя из приёмной Акимова: «Глеб Владимирович, доброе утро. Вас Анатолий Трофимович опять вызывает. По поводу Савостина».

Быстро собирал рукопись проклятого Савостина. Поглядывал то на Бунина, то на Алексея Толстого. Рядом на стене. Как на чудотворные иконы. Поддержите, оградите от графомана. Потянулся, чтобы схватить блокнот и ручку. Зацепил стопку папок на столе (папки полетели на пол). Мимо папок из кабинета.

Быстро шёл вдоль всей редакции. Вдоль плохо организованных столов, моноблоков, телефонов и сотрудников.

Как в контраст, впал в громадный кабинет Акимова.

Сидел с бумагами у груди – словно с увечными голубями. Под потолком дворцовым, поднебесным. Но даже там не по-

летят. Как ни старайся, ни лечи.

За большим столом кругленький Акимов гневался. Голова его без волос имела вид красного пузыря с маленькими ушками, носиком и ртом:

– Глеб Владимирович, сколько можно говорить! Почему вы терроризируете Савостина? Он опять приходил. Чуть не плакал.

– Кто? Савостин чуть не плакал? Ха! Ха! Ха!

Директор издательства смотрел на главного редактора. Непокорного. Очки главреда злорадно поблескивали. Ну натуральный Берия, чёрт побери! Хоть и нос картошкой. И голову будто накрыли сивым сеном.

– Ну вот что, Глеб Владимирович, как хотите, а к 20-му рукопись должна быть готова! Всё! Срабатывайтесь с Савостиным. Найдите с ним общий язык, в конце концов!

– С кем? С Савостиным? Да вы послушайте, как он пишет.

Яшумов начал искать в бумагах на груди. Убийственную компрометацию на Савостина. Убийственный абзац. Предложение. Слово. «Сейчас. Подождите». Бумаги посыпались на пол. Опять.

Яшумом приседал, собирал по паркету листы Савостина. Как будто каялся. Гипертонический пузырь за столом надувался, постукивал карандашиком.

Собрал листы главный редактор. Без всяких церемоний раскинул на столе начальника. «Вот. Навскидку. Послушайте: «Артур улыбался Регине крупными зубами»... Держал

лист чуть в стороне от себя (вынужден был его держать), ждал, когда директор переварит перл.

Акимов напрягся:

– Ну... ну поправить же можно. Например: «Артур кивнул ей, обнажив крупные зубы».

– Обнажать можно тело, даже душу, но не зубы, Анатолий Трофимович.

Поднял второй лист перед собой: *«Изнасилованные девушки были возбуждены и казались... почти весёлыми»...*

– Продолжить, Анатолий Трофимович?

– Не надо.

Яшумов собирал рукопись.

Уходя, посоветовал:

– Пусть наймёт литературного раба. Раз так жаждет напечататься. Тот, может быть, и состряпает что-нибудь.

Акимов остался за столом. Как объяснить этому упрямому дураку, что Савостин из команды губернатора!

Яшумов опять шёл вдоль редакции. Сотрудники, как мыши лапками, аплодировали. Почти все они уже прошли через Савостина. Отбились. Теперь очередь Главного. Героя. Тореадора.

У себя Яшумов собрал с полу все папки. Листы Савостина бросил на подоконник. Подальше с глаз. Сегодня хотя бы будет передышка.

Не тут-то было. Как только начал читать рукопись Голубкиной Галины – стоящую рукопись – в дверях появился Са-

востин. Повесил модную шубу (лохмы первобытного человека!) на вешалку. Предстал перед редактором в шейном платке, в рубашке апаш, в обтягивающих кальсонах цвета беж. По внешнему виду – классический графоман. Желаящийся выделиться в серой толпе. У зеркала взбадривал модного петуха на голове. Как допускают в таком виде к губернатору – непонятно. Наверное, переодевается. А петуха зализывает. Ну а здесь всё можно – во всей красе.

Наконец сел. Через стол протянул руку. Куда же тут? – пришлось пожать.

Редактор помимо воли хмурился. Сказал, что после всех домашних исправлений автора стало ещё хуже. Автор сразу выпрямился и побледнел. В подтверждение своих слов редактор стал выискивать в рукописи не просто блох, нет – бесстрашно вытаскивал на свет целых крокодилов. «Вот вам некоторые примеры. Из самого начала: «Вдруг сердце Артура судорожно забилося». Было подчёркнуто мною *судорожно забилося*. Вы исправили: «Вдруг сердце Артура *в судорогах* забилося». Дальше. Через страницу. Подчёркнуто: «Возмущённый Артур светил во тьме *взглядом*». Вы исправили: «Артур светил во тьме *глазами*». Опять. То «зубами улыбается», то «глазами светит». Ну и вот наконец. Жирно подчеркнул: «Она портнихой Артуру представилась. А он ей – электрический монтёр».

– Видите, слышите?

Но Савостин не видел, не слышал, не понимал. Принялся

защищаться, спорить, агрессивно наступать. Да я! да у меня! Да обо мне даже Даниил знает! (Да. Покойный.) Да у меня два высших образования! Два диплома! (Точно. Купленных в переходе.) А вы тут! (Окопались.)

Редактор смотрел на автора с петухом на голове... Мужской сделанный утром макияж не скрыл, что парню уже за сорок – на лице проступили морщинки. И под глазами, и на подбородке...

Неожиданно Яшумов сказал:

– Может быть, вам бросить писать?

Савостин вскочил:

– Да как вы смеете! Кто вы такой? У меня три романа напечатано! (Точно. За свой счёт, – пригibasя от крика Яшумов.) Куча рецензий! Положительных! (Да. Все проплачены.) Я грант получил! (Правильно. Губернатор дал. Непосредственный начальник.) Да вы обязаны напечатать мой роман. Обязаны! Я жаловаться буду, в конце концов! (Конечно. Своему губернатору. Чтобы тот всю редакцию выпорол.)

Яшумов кипел, сдерживался из последних сил. Хотел сказать этому попугаю, что он, Яшумов, не с неба упал в издательство. На этом стуле сидит как раз для того, чтобы разоблачать всяких графоманов. Его долго учили этому. И в университете, и в литинституте в Москве. Писатели, профессора. Учили любить Слово, любить Литературу. Оберегать, защищать её от всяких проходимцев. Поэтому он имеет право сказать так называемому автору прямо в лицо: ваш роман,

уважаемый, – издевательство над Литературой. Издевательство над Словом. И пока он, Яшумов, здесь – графоманы не пройдут. Даже с грантами, с губернаторскими крышами...

Всё это пронеслось в голове. Вслух сказал:

– Я не буду с вами спорить и что-то доказывать. – Хотел сказать, бесполезно, но удержался. – Я уже сказал Акимову: вам поможет только костолом. Он всё сделает.

– Это кто ещё такой?

– Литературный работник. Писатель. Сидящий на мели. Найдите такого. Он сделает что-нибудь из вашей... рукописи.

– И что – я – с грантом – должен ещё и заплатить кому-то?

– Да, только так.

– Да не будет этого никогда!

Савостин хватал свои листы.

Яшумов устало сказал:

– Воля ваша.

В обед теснился на раздаче в кафе самообслуживания неподалёку от редакции. В затылок дышал Григорий Плоткин. Оба с большими подносами в рисованных цветах, как, по меньшей мере, с красивейшими индulgенциями к вкусной еде. Плоткин советовал главреду взять тарелочку с пятью кружками колбасы. Колбаски. Копчёной. «Вкуснейшая, Глеб Владимирович. Уверяю вас!» Разрезанное крутое яйцо заодно подсовывал. Облитое майонезом. «Язык проглотите, Глеб Владимирович!» Но Яшумов противился, отвер-

гал, брал хоть какое-то подобие диетического. Салатик из свёклы, сметанку в стаканчике, борщ и котлетку без гарнира. И компот. Пресловутый компот. Вместо кофе, как у Плоткина на подносе.

Уплатив, расположились возле высокого окна с мельканием зимних чёрных людей. Плоткин убежал с подносами к специальному столику. Бросил там их без всякого уважения.

Уселся. К колбаске. К крутому яйцу в майонезе. К железной лопатке с залитым соусом бефстроганов и к крепкому кофе. Ну и обжорка тощенький мужчина. Яшумов не уставал удивляться аппетиту коллеги.

– Как сегодня Савостин? Как прошла битва за Слово? Отважно отбились, Глеб Владимирович? Или пришлось бежать с поля боя? – (Декларация Яшумова о Слове, о Литературе с большой буквы – была известна всей редакции.)

Яшумов смотрел на весёлого, хорошо закусывающего Плоткина. Рассказывал, как прошло всё. Что опять был скандал.

– ...А ведь это всё вы, Григорий Аркадьевич. Это вы его вывели на наше издательство. Прямо за рукав. Если б не вы – может и прошёл бы мимо. Мало ли издательств в Петербурге.

– Было дело, – согласился Плоткин. – Было, Глеб Владимирович. Случайно познакомился с ним в весёлой компании. Вышли вдвоём покурить на площадку. Чёрт дернул сказать, что работаю в издательстве. После его похвальбы.

Спьяну посоветовал прийти даже к нам. С рукописью. Мол, я всё могу! Ну а дальше завертелось... Тут и грант появился у Савостина, и липовые рецензии, и рекомендации писателей. Всё по схеме. Акимов сначала отпрянул. Ручками замахал. Но узнав, что губернатор за спиной, сразу сдался. Выходит, виноват я один, Глеб Владимирович. Похвалился по пьянке. Направил. Привёл. Прошу любить и жаловать, господа – новый писатель!

Посмеялись. Плоткин уже удивлялся зигзагу судьбы:

– Он даже живёт, как оказалось, неподалёку от меня, Глеб Владимирович! Нередко пролетает моим двором на своем Рендж Ровере. Ладно хоть не знает, где я в доме спрятался.

– Вам нужно было прочесть хотя бы пару строк у него, – по-отечески пенял коллеге Яшумов, проглотив слова «прежде чем тащить в издательство».

– Каюсь, Глеб Владимирович, каюсь. Но и вы виноваты. Зачем прогоняли его через трёх редакторов? Он же пришёл сначала к вам. Посланный Акимовым. Нужно было сразу убить его. На месте. Без жалости. А, Глеб Владимирович?

Ведущий редактор Гриша Плоткин имел весёлые глаза и кудрявую голову Пушкина.

Когда-то она пришла в его кабинет и важно представилась:

– Я из библиотечного коллектора. Жанна Каменская.

Фу, графоманство какое, наморщился Яшумов. Переплюнула даже Маринину. Но опомнился: «Проходите, проходите! Садитесь, пожалуйста». И пока дама усаживалась, бормотал:

– Яшумов. Глеб. Глеб Владимирович.

Дама оказалась специалистом по бухгалтерскому учёту и документации.

– Очень хорошо. Внимательно слушаю вас.

– Вы недопоставили нам более 1000 экземпляров. По четырём названиям. Вот список названий. У нас договора с библиотеками, сроки. Мы вам заплатили. Где книги?

Однако тон!

– Нам что, в арбитраж идти? – наседала дама.

– Минуту. Сейчас выясним. – Яшумов потыкал кнопки редакционного.

– Григорий Аркадьевич... А где он? Сейчас же вытащите его – и ко мне.

Пока ждали Плоткина, Яшумов поглядывал на самоуверенную. Лет сорок, наверное, даме. Знает себе цену. В красивых жёлтых локонах до плеч.

Бухгалтерша строго смотрела на Алексея Толстого на стене. Почему-то на него одного. Будто знала его давно. И он тоже ей остался должен.

Прибежал наконец Плоткин. Прямо из курилки. Вместе с дымом и табачным перегаром.

Сразу объяснил, что тормознула типография. Деньги мы им не перевели. Денег пока нет. Как только – так сразу, уважаемая. Получите свои экземпляры.

– А вы кто? – строго спросили у Плоткина.

– Я – ведущий редактор, – гордо ответил Плоткин

Каменская повернулась к Яшумову.

– Главбух в декретном отпуске, – торопливо пояснил тот. – Женщина, знаете ли. А Григорий Аркадьевич пока замещает её. Временно, временно! – как бы успокоил.

Каменская уже поднялась. Постояла, переваривая всё. Уходя, всё же ввернула:

– Что же вы, тиражи у вас растут, а косите под нищих. Бухгалтера даже не имеете. Стыдно, господа. Ждём две недели. Если экземпляры не придут – арбитраж, санкции.

В дверь ушла большая попа. В легкомысленном коротком ситчике.

Два борца за чистоту языка пропустили даже слово «косите», жаргонизм! Просто замерли. С раскрытыми ртами.

– Да-а, у такой не забалуешь, – пришёл в себя Плоткин. – Помните, Глеб Владимирович, идею о самокупаемости библиотек? О ликвидации всех бибколлекторов? Этих

монстров? Как один наш министр рассуждал на эту тему: «Может, в ней, библиотеке, организовать клуб с шестом. А?»
Помните?

Нервно рассмеялись.

Через неделю Яшумов почему-то сам поехал с типографскими в старом уазике с упаковками книг. Даже кучерявого лжебухгалтера не взял. Плоткин не обиделся. Сказал двум мужчинам-курильщикам в курилке: «Запал наш Главный. И есть на что. Телеса, доложу я вам, у дамы мощнейшие!»

Долго ехали вдоль рябой Невы. И выкатили куда нужно: к трехэтажному дому с табличкой на торце – Строение 25.

Яшумова встретил усатый директор. И пока типографские таскали упаковки, с гордостью водил, показывал своё хозяйство. (О конфликте, о том, что недопоставили вовремя книги – ни звука.)

В довольно большом помещении вдоль трёх стен стояли длинные стеллажи, набитые книгами. Тут же возле стеллажей, на полу, стояли так называемые «лодки» для нераспакованных, необработанных книг. В одну такую лодку и складывали упаковки типографские. И со всем этим богатством вокруг управлялись всего лишь пять сотрудниц за столами с компьютерами. Включая и бухгалтера Каменскую, которая находилась, правда, ото всех чуть в стороне, огороженная невысокими стеллажами с документацией в папках.

Она даже встала, подошла и поздоровалась. Она была неузнаваема. Она извинялась, что «так наехала» на издатель-

ство. (Опять жаргонизм!) Она улыбалась. Была всё в том же ситцевом платице.

– Жанна Фёдоровна у нас такая, – восхищался бухгалтером усач. – Ух!

Все улыбались, все были счастливы.

С тем и расстались.

В машине, рядом с шофёром, Яшумов не видел летящей улицы, а потом и нескончаемых бликов Невы. Всё вспоминал улыбку Каменской. С поперечными складочками в углах губ. Похожую на предложение, взятое в скобки. Вспоминал её рельефные мощные ноги из-под короткого платица...

Через полгода, уже зимой, он увидел её в вагоне метро. Было часов девять вечера. Прямо напротив него она сидела-покачивалась с другими задумчивыми пассажирами.

Тогда на голове её был не зимний стог, не шалаш, как сейчас, а красивая вязаная шапка со сверкающими мелкими стразами.

Он неуверенно кивнул ей. Но она сразу увела взгляд в сторону. К парню и девчонке возле нерабочей двери. Которые висели друг на дружке, толклись на месте. Точно танцевали в вагоне очень медленный танец.

Когда вагон влетел на станцию «Сенная площадь» и начал тормозить, она вдруг посмотрела на него и кивнула. Даже задержала на губах «здрости». И пошла к двери.

Ему нужно было на следующей. Но, поколебавшись, ринулся за ней и в последний момент выскочил из вагона.

Увернулся от схлопнувшихся половинок двери.

Людей из поезда вышло довольно много. Он вертелся и никак не находил её.

Увидел наконец сверкающую шапку, лохматую доху и крепкие ноги в мужских берцах.

– Пойдите! Жанна! Жанна Фёдоровна!

Догнал. Пошагал с ней в ногу. Заглядывал в лицо. Себя не узнавая, говорил и говорил о чём-то. О чём? – вспомнить потом не смог.

Она шла, смотрела себе под ноги, улыбалась.

На эскалаторе всплыли в вестибюль и вышли из здания.

Спускались с лестницы на площадь. Она спросила, в какую ему сторону. Да мне вообще-то на следующей нужно было, ответил он, точно извиняясь.

Остановились.

– Тогда, может, ко мне зайдёте? Я тут рядом. Чаю попьём. А потом вызовем такси.

Яшумов колебался.

Женщина, внутренне смеясь, смотрела на кавалера. Созрел? Или ещё зелёный?

– Ну же, Глеб Владимирович! Я вас не съем.

И Яшумов... пошёл за Каменской. И в тот же вечер оказался в её постели.

Но странно – уверенная в себе женщина во время близости была безвольной, податливой. Он даже чувствовал её слёзы на своем лице. «Милый, милый», – только и шептала

она ему в темноте.

Утром была прежней. Спокойной, надменной. Такой же спокойной была и забота её на кухне за завтраком. Он чувствовал себя напряжённо. Хотелось поскорее уйти... Однако вечером вновь был у неё. А ночью обнимал безвольное тело, опять ощущал на своём лице её слёзы.

«Странная женщина», – думал он, поматываясь в вагоне метро рано утром. – И не одна даже женщина, а как бы две. Одна высокомерная, независимая. Другая безвольная, податливая, плаксивая. Потом это больше всего раздражало его. Он терялся. Никак не мог объединить этих женщин. Чтобы была одна, понятная, родная. И по ночам от жалости ему сжимало душу. Хотелось плакать вместе с ней. Но днём всё менялось. Он чувствовал какой-то стыд. Не мог взглянуть на властное лицо. Он просто отворачивался.

После работы заехала к себе на Сенную. Сегодня 21-е. Срок квартирантам. Поднимаясь на третий этаж, думала: повысить цену или пока подождать? Аспирант из Волгограда открыл и попятился. Как всегда. Никак не может привыкнуть. Как будто полиция пришла. А чего пугаться? Деньги у парня есть. Папа – шишка в волгоградской администрации. Но сынок пугается. Язык проглотил. Вошла. Поздоровалась. Тут только включился: «Здравствуйте, Жанна Фёдоровна! Здравствуйте!» Ужимается. Боится. Это хорошо. Хозяйка пришла в свою квартиру. Двинулась в большую комнату. Так. Всё вроде бы на месте. Люстру не оборвали, плазменный на стене – работает. Тощая жена промелькнула в спальню. Халат еле успел за ней. Бэби уполз за диван. Выглядывает оттуда с испугом: тётка явилась, в жуткой шапке! Так. Все боятся. «Сегодня 21-ое. Не забыли?» – «Что вы, Жанна Фёдоровна! Вот, пожалуйста. Всё приготовлено вам. Вся сумма». Протягивают чуть ли не вдвоём с женой. В конверте. Приучены. Ванну и спальню проверять не стала. Всё равно тощая замела следы. Все пошли в прихожую. И бэби на руках у матери. Ручку даже протянул. Шапку потрогал. Стог. Стильный, наверно, отметил про себя. Посмеялись. Квартиранты с восторгом смотрели на хозяйку. Как на родную. Так повысить квартплату или нет пока? Хитрый бэби палец заку-

сил. Он не знает. «Ладно. До 21-го!» – «До свидания, до свидания, Жанна Фёдоровна!» Из дверей ещё кричали. В спину. Пока спускалась до площадки меж этажами. И с грохотом захлопнулись. От радости. Что не содрала с них лишних пару-тройку тысяч. Да-а. Тоже мытарилась-кантовалась в своё время по съёмным. «Ты почему опять мочу оставила? В унитазе? Сколько учить! Смывать надо, смывать! Даже если просто сикнула. Смой! Здесь тебе не деревня твоя». Старуха Студеникина. Хозяйка первой квартиры. Зверь была баба. Колпино считала деревней. «И чтоб свет нигде не горел! Поняла?» Сама квартирантка работала тогда где попало. Считала чужие деньги. За сущие гроши. И только когда устроилась в Фирму – расправилась, поднялась. Уже через год наколотила на эту вот квартиру в центре. Подумывала уже о Бентли Континенталь. И чтобы розового цвета. Но накрыли Фирму. Попались с офшорами. Генерального и главбуха почти сразу посадили. Чудом уцелела тогда. Была в бухгалтерии на вторых ролях. И вашим и нашим. Но всё равно долго таскали. На всякие очные ставки, экспертизы. Перепугалась тогда до смерти. Хотела продать квартиру и бежать сломя голову. К маме с папой. В Колпино. Но опомнилась. Раз не загребли в первый месяц, значит, отстали. Зацепилась на окраине. В библиотечном коллекторе. Подруга привела. Здесь схемами и не пахло. И директор был трус и слабак, и на федеральном бюджете. Да оно и лучше. Нищая, зато честная. Знал бы Яшумов, с кем связался. Хотя и пытал-

ся выведать, откуда квартира. Да ещё в центре. У девушки из Колпино. Простого бухгалтера. – Да от родной тёти! После её смерти! По её завещанию, не сморгнула глазом. Филолог-криминалист хренов!..

Ещё на площадке, доставая ключи, Яшумов услышал мяуканье кота. За дверью. Опять ушла, не покормила!

Пока раздевался, Терентий ходил вокруг и требовательно орал. Сразу повёл Яшумова к своей чашке. Пустой, конечно. Вылизанной до блеска.

Бодал руку хозяина с коробкой китикета, не давал сыпать в чашку. Ну, ну, ешь давай, не бодайся! Припал, наконец, котятка и начал жадно есть, раздувшись рыжим шаром. А ведь когда-то прибыл сюда вместе с хозяйкой. Её приданым...

Сел к столу, развернул газету, стал ждать.

Уже из прихожей увидела – муж опять надулся. Сидит за столом, прикрылся газетой.

Обнаружила кота над чашкой.

– Да милый мой Терёша! Голодный! – Присела, стала гладить: – Прости нехорошую хозяйку, прости.

Кот передёрнулся: отстань! не мешай!

– Ты уподобляешься пустой девчонке, – докторально начал нотацию Яшумов. – Которая долго просит родителей купить кошечку. А когда получает её – не кормит. Играет, делает с ней умильные селфи, выкладывает в сеть. И только. Покормить кошку, тем более убрать за ней в туалете –

этому девчонку не научили. – Яшумов прищурился: – Может, и подруги у тебя такие же?.. – И прокричал вдруг плаксиво: – Пожалей животное!

Защитник стоял как клоун, но был вообще-то прав. По утрам бедный Терентий только отлетал от бегающей хозяйки. Осознавала базлания кота лишь на лестнице. Иногда пересиливала себя, быстро возвращалась, сыпала ему прямо в прихожей на пол. И снова катилась по лестнице. Но так бывало не всегда.

– Бедный, бедный Терентий, – всё гладила кота.

– Длинную палку свою возьми. С камерой, – ехидничал супруг. – *Сфоткайся* с ним. Сделай милое селфи на память. *Себяшку*.

Муж и жена ужинали. В большой комнате. Молчали. Сытый кот, виновник размолвки, резко сгибался на паркете, вылизывал своё богатство. Правая вытянутая лапа его тоже подёргивалась, участвовала в упражнении.

Кастрировать бы его. Всё бы меньше мяукал. Так другой орёл сразу встанет на защиту: не тронь животное! Даже не вздумай! А ведь март надвигается. Снова форточки не забывай закрывать. Чтоб не орал подругам наружу.

С другого боку Терентий стал гнуться-вылизывать. Другая задняя лапа вздёрнулась и стала делать упражнение.

Сходила в прихожую, принесла книгу. «Вот. Купила в переходе. Стейнбек. «Гроздь гнева». Читал? Интересная?» Зануда только покосился на увесистый том. В чудесное пре-

ображение жены уже не верил.

Не забыть его лица, когда привезла свою небольшую библиотечку. И разложила на столе. Донцова, Маринина, Серова. Полякова. Филолог увидел цветастые обложки и натурально закачался. Точно попал под газ. Под газовую атаку. «Убери. Прошу тебя». Да почему же! «Я заболею». Пришлось увезти назад. На Сенную.

Пыталась сначала читать из его библиотеки – такое же занудство, как и владелец. Иногда попадались, правда, ничего, стоящие, интересные. Филолог тогда потирал руки, надеялся. Подсовывал ещё книги. Потом махнул рукой. Безнадёжна.

– И зачем ты купила Стейнбека? Для чего он тебе? Тем более, он есть у меня. Со второй полки стеллажа на тебя смотрит.

Понятно. Бухгалтерша перед ним. Из Колпина. Колпинка. 26 км до Питера. Тянуться – не дотянуться. А то, что в школе имела почти пятерку по русскому – это не считается. И в техникуме всегда успевала. Ну а тут, конечно. Университет с красным дипломом. Литинститут в Москве. Папа всю жизнь профессор. Мама на скрипке пилила. Где уж нам. Деревенским из Колпина. Отец до пенсии простым шофёром был. Мама бухгалтером в садовом хозяйстве. Боятся лишний раз приехать к дочери. Увидеть монумент за столом. Который слова доброго не скажет. Зато в прихожей: мы вам рады! почаще приезжайте! Вдевает стариков в одежду. Чуть не под-

брасывает. Будьте здоровы, кричит от радости на лестнице. Мы вас всегда ждём! Ни разу не оставил ночевать.

Демонстративно взяла мобильник и тронула пальцем фотку с мамой:

– Ало, мама! Привет! Ну как вы? Почему не звоните? (Нарочно сказала «не звоните».)

Занудный вздрогнул. Как от удара. Стал собирать всё на столе. Понёс на кухню. Терентий тоже сразу снялся и помёлся у ноги хозяина. Сопровождал. Указывал направление. (Не нажрался.)

Яшумов мыл посуду. Старался не слушать, о чём говорит жена с родителями.

Сильно опаздывая на регистрацию дочери, они примчались тогда в Петербург на такси. Как рассказывали потом, шофёр попался неопытный, местный, колпинский, долго искали с ним улицу Фурштатскую и Дворец бракосочетания на ней. Нашли, наконец. Расплатились, заторопились к большому двухэтажному зданию. Показали пригласительные и поднялись по широкой лестнице на второй этаж. Но всё равно не успели – возле высокой красивой двери их остановил служитель: уже нельзя, уважаемые. В расшитой куртке и белых перчатках. Натуральный швейцар при ресторане. Когда ресторан забит под завязку.

Ходили возле двери и слушали недоступного мендельсона. Встретили молодых только когда те вышли из зала. Обняли, поздравили.

В буфете тесть хлопнул зятя по плечу: «Молодец, афганец! Укротил!» Яшумов растерялся. Поперхнулся даже и пролил шампанское. Дочь задёргала отца, зашептала в бес-толковое ухо: «Папа, ты спутал. Он не афганец. Не Валентин. Он – Глеб. Глеб Владимирович». А-а, Глеб, значит. Глеб Владимирович, не поверили мать и отец.

В длинной машине с низким потолком они сидели прямо напротив молодых. Но не сводили глаз только с «афганца». Точно боялись, что он дочь изнасилует. Прямо здесь, в длинной машине. А когда афганец поцеловал невесту, поцеловал крепко, взасос – они как по команде выдернули платки и начали вытирать лица.

В первое время в квартире Яшумова они вели себя точно в музее. Рассматривали на стенах бородатых корифеев под стеклом. Подолгу стояли перед двумя стеллажами с книгами (библиотекой Яшумова). Невольно оборачивались к хозяину: неужели осилил все, укротил?

Яшумов самодовольно улыбался: да, укротил.

Потом всегда был обед. Или завтрак. Или вечерний чай. Это зависело от того, в какое время тесть и тёща приезжали к дочери.

За столом Яшумов чувствовал себя неудобно. Смущался. Выросшему и воспитанному в профессорской семье, ему было трудно разговаривать с простыми людьми. *С простыми людьми*, как говорил сам Владимир Петрович Яшумов, отец, профессор, всю жизнь занимавшийся культурой Ви-

зантии и Среднего Востока. Как и отец, Яшумов-младший иногда просто не понимал, о чём говорят простолюдины за столом. Все эти их словечки: *небоОсь*, *беЕсперечь* (Что это! – пугался Яшумов), *луУпалки* («Идёт, лупалки вылупила», – это они дочери, понимающей, кивающей согласно). Словечки эти били в голову Яшумова, как в пустой барабан. Не могли в ней остаться, не осмысливались никак. Это был даже не жаргон, (жаргонизмы он определял мгновенно), это был язык такой. Хотя муж и жена, сидящие перед ним, выросли в городе. (Колпино – это же город, в конце концов.) Впрочем, как выяснилось, росли на окраине его, в частном доме, где был огород, своё хозяйство и даже корова. Вместе с родителями-сельчанами, которые от коллективизации переехали в город. (Сбежали! Смылись! Филолог!) Сама Жанна, их дочь, к чести её, вышла на более высокий уровень. Сыпала современным: *отпад*, *отстой* и даже *откён*. Однажды она сказала: «Яшумов – ты полный отстой». – «Нет, – возразил Яшумов. – Я полный *откён*».

Иногда невольно думал, почему дочь свою Анна Ивановна и Фёдор Иванович назвали – Жанной. Именем не простым. Как рассказала однажды сама Анна Ивановна, в молодости, когда была беременной (будучи *на сносях*, чёрт побери!), они с Фёдором (мужем) попали на концерт приехавших в Колпино Жанны Болотовой и Николая Губенко. Концерт так их поразил, так понравился, что когда шли из Дома культуры домой по ночной тёмной окраине, молодая Аня останови-

лась под светом фонаря, потрогала большой живот, хорошо укатанный под пальто ещё и шалью, и сказала, что если родится девочка, то назовём Жанной, если мальчик, то Николаем. Родилась девочка, дочка. И сразу стала Жанной, Жанночкой. В тот поздний вечер, надо думать, молодые муж и жена шли и видели впереди не просто редкие столбы с тусклыми фонарями, а по меньшей мере новогодние сверкающие ёлки. Сверкающие даже не игрушками – бриллиантами.

В следующий приезд родителей Яшумов вдруг узнал, что дочь их вовсе не Каменская, а *Силкова*. Фамилию «Каменская» она оставила после развода с первым мужем, с которым прожила всего полгода. Конечно, Силкова – далеко не Жанна Каменская. Это даже Яшумову было понятно. Но родители, по всему было видно, остались довольны. С такой фамилией их Жанка далеко пойдёт.

После таких откровений Анны Ивановны и Фёдора Ивановича Яшумову почему-то становилось стыдно. Стыдно за своё высокомерие, за снобизм. Искренне кричал им вслед на лестнице. Приглашал приезжать в любое время. Но предложить остаться ночевать – почему-то в голову не приходило. *Тяма* не хватало, как сказала бы Анна Ивановна.

Вдоль канала Грибоедова Яшумов шёл в сторону Невского. К Дому книги. К Дому Зингера на перекрёстке. Со стеклянной башней, увенчанной земным шаром, с бронзовыми девами-валькириями на угловой части фасада.

Всё время почему-то лезло в голову из Савостина. Как будто гриппом заразился. Фолликулярной ангиной: «Суровый Артур угрожающе вращал автоматом. Его низкий голос напоминал дребезжание ржавой пилы». Яшумов останавливался и смеялся. Как будто плакал. Прохожие оборачивались. Приблудный финн в туристских ботинках и с рюкзаком разом остановился и смотрел на него как на достопримечательность города. На ожившую скульптуру. Жестом Яшумов успокоил его. Дальше шёл. «Орлиный нос и мясистые щёки со злыми усами придавали лицу его суровое выражение». Да что же это такое! Лёд в канале не казался чистым, небесным, как в Мойке – говяжьим студнем лёд казался в канале Грибоедова. В пятнах белого свиного жира.

Выдвинулся наконец Дом Зингера. Гигантский корабль на приколе. Ну, сейчас будет легче. Уйдёт проклятый Савостин. Яшумов пошёл к зданию. Но – «Послышалась мелодичная музыка, означающая, что Артур хочет войти». Да чёрт же побори!

В отделе Анны Ильиничны ещё не было, работала одна

Мария. Помощница Анны. Которая сразу предложила раздеться. Сказала, что есть новые поступления.

Повесив пальто и шапку, продвигался вдоль стеллажа и, точно слепой, трепетно трогал антикварные новые-старые книги: «Кривоглазый солдат довольно улыбался щербатым ртом, швырнул кумулятивную гранату косой рукой».

Остановился в растерянности.

– Что с вами, Глеб Владимирович? Вам нехорошо?

– Ничего, ничего, Мария. Сейчас я присяду, отдохну. – Яшумов сел на диванчик. Вытирал выступивший пот.

Пришла наконец Анна Ильинична. Поднялся, обнял невысокую женщину, погладил плечи. Волосы Ани пахли свежестью утра, которую принесли с собой. Помог снять подутое, как матрац, пальто, повесил рядом со своим.

Аня прошла вдоль стеллажа, сняла три книги, о которых он говорил на прошлой неделе.

Заворачивала на столе в бумагу:

– Вот, Глебушка. Только долго не задерживай. Чтобы клиенты не обнаружили, так сказать, «пропажи». Сам знаешь, как у нас тут. (А «тут» была просто бесплатная библиотека для Яшумова, а не букинистический магазин, где нужно за всё платить.)

По традиции спустились на первый этаж в кафе. Посидеть, попить кофе. Яшумов снова разделся. Взял кофе и пирожные в буфете.

Сидели возле арочного высокого окна, от которого навеч-

но отдалился Казанский собор, похожий на конгресс США. Яшумов расспрашивал о сыновьях Анны Ильиничны, о четырёх её внуках. А та, чтобы не говорить о Жанне Каменской, жаловалась на большую плату за аренду, которую всё поднимают и поднимают. Что скоро придётся, наверное, сворачиваться и искать другое место.

Женщина смотрела на друга покойного мужа. На его длинные волосы, будто прихваченные утренним заморозком. Так с молодости и не сменил причёску. Бедный Глебушка. Тоже уже потерял близких родных. Мать умерла три года назад. Отец ушёл ещё раньше. И в личном Глебу всё так же не везёт. И первая жена-сожительница давала концерты, и вторая теперь, законная, похоже, от первой не отстаёт.

О многом хотелось поговорить мужчине и женщине. Но молчали. Пили кофе, смотрели на Казанский собор. На его закинувшийся к небу купол, казавшийся самостоятельным, на арочный римский форум внизу на переднем плане. Тоже – как на отдельное (самостоятельное) строение.

На выходе обнялись, и Яшумов вышел из здания. О муже Ани, незабвенном Толе, не сказали ни слова. Словно не захотели тревожить память о нём.

Шёл той же дорогой вдоль канала. Размытым взглядом не видел его льда. Забыто удерживал у груди книги. Так шёл бы, наверное, вдоль канала князь Мышкин, прижимая к груди свой бедный узелок...

...Пожились Аня и Толя перед самым поступлением

жениха в литинститут. Где Яшумов и познакомился неожиданно с земляком из Питера. На вступительных. Сидели локоть к локтю, писали диктант. Попали даже к одному Мастеру в семинар. Оба заочники, вместе ездили на сессии.

После института у Колесова не задалось с публикациями. Издал только одну книжку рассказов. (Яшумов целых две!) Как и Глеб, Толя тоже работал редактором. Только на телевидении. Аня. Семья. Два сына-погодка. Выросли. Женились. Внуки пошли.

Пять лет назад Анатолий Колесов погиб. Погиб трагически. В метро упал с перрона под поезд. То ли сам оступился, то ли помогли.

В то февральское утро Яшумов сильно опаздывал на работу, метался возле метро, ловил такси: станция Владимирская оказалось закрытой. Почему-то на целых два часа. Но ничего не ёкнуло внутри, ни о чём плохом не подумал.

На поминках в кафе за скорбным длинным столом он как заведённый говорил мужчине с Толиной работы: «Люди утверждают, что если умирает близкий человек – муж, жена, ребёнок да даже друг, близкий друг, – умирают внезапно, погибают где-то неподалёку, как Толя, то близкие всегда чувствуют это. Но я был там, наверху, у метро, совсем рядом, но ничего не почувствовал. Понимаете – ничего. Бегал в это время, искал такси... Ничего. Понимаете? Может быть, жизнь наша – череда случайностей? Просто случайностей?»

Телевизионщик хмурился, не знал, что ответить. Погля-

дывал на вдову в чёрном. На её взрослых двух сыновей рядом с ней. Словно извинялся за ненормального. Который, правда, уже заткнулся, ничего не ел и только хлопал рюмку за рюмкой.

Яшумов долго думал потом о гибели друга. Свидетелями трагедии были все утренние пассажиры, подготовившиеся штурмовать влетевший на станцию поезд. А дальше никто ничего не понял – мгновение – и человек упал на рельсы. Ещё мгновение – исчез под головным вагоном. И вся толпа в испуге отшатнулась от края платформы – самоубийца!

Но ведь Толю мог столкнуть какой-нибудь урод. Просто так. Из природного своего садизма. И когда люди отхлынули – больше всех бегать, стенать и размахивать руками.

Алкоголя в крови Анатолия не оказалось. Хотя бывало, что он выпивал. Врагов у него, открытого, доброго – точно не было. Вызвавшиеся свидетели говорили разное, абсолютно противоположное. И следствие приняло от них единственную, *правильную*, версию – несчастный случай. Оступился.

Иногда вечерами представлял (видел), как Толя погиб... – Вылетевший на станцию поезд, готовящаяся штурмовать его утренняя толпа. И вдруг человек падает прямо на рельсы и исчезает под головным вагоном...

Сидел с закрытыми глазами. Часы громко щёлкали на стене. Как будто цапля била клювом прямо в темя.

Старался гнать от себя видение. Старался вспоминать только хорошее.

Когда молодой Глеб Яшумов впервые подошёл к памятнику Герцену позади литинститута – сразу подумал: слишком маленький постамент. Не удержаться на нём. Чтобы поцеловать корифея сзади. Ниже поясицы. Разве только цепко обнять и повиснуть. Но будет ли тогда действовать примета? Будет ли в дальнейшем нобелевская? Вопрос...

Ещё вспомнилось далёкое: «Яшумов, вы пишете слишком грамотно и сухо, – сказал тогда же при всех на курсе художественный наставник (Мастер). – По возрасту вы ещё молодой человек, но почему-то боитесь молодёжного сленга. Боитесь придумывать свои слова. – Яшумов встал из-за стола, но Мастер поднял руку: – Знаю, знаю, что вы ответите. Всё перечисленное мною – классические признаки графоманства. И в чём-то будете правы, но! – Был поднят указательный палец: – Но слишком грамотная дистиллированная проза – это еда для диабетиков. Без перца, без уксуса, без соли. Поэтому, если хотите, чтобы вас читали – солите прозу, перчите. Мажьте русской горчицей, чёрт побери! – Смотрел на упрямого студента. С длинным сеном по голове: – У вас же нё к чему придраться, Яшумов. Пишете плохо, в конце концов! Тогда будет получаться хорошо. И у вас всё сдвинется».

Вот именно – «сдвинется», смотрел в сторону Яшумов. Как тот волк. Которого сколько ни корми.

Однако однокурсники (и не только) перед обсуждениями по вторникам своих сочинений нередко говорили друг другу: «Перед семинаром, перед читкой, дай рукопись Яшумову – он посмотрит». И больше всех подсовывал свои листы Толя Колесов: «Посмотри, Глеб. Почисть, пожалуйста».

А семинары всё равно проходили убийственно. Убийственно для любого автора. Разносили на них в пух, прах, пыль и пепел. Эти четыре «П» всегда витали в аудитории, где устраивался разнос.

Но Яшумов – чистил рукописи. Почти на бессознательном уровне уже тогда уничтожал в чужих писаниях всякого рода красоты, жаргонизмы, всякое «ботанье по фене». Уже тогда в нём поселился безжалостный редактор.

Однажды Толя, всегда сидящий рядом с Яшумовым, спросил Мастера, как избежать застоя в письме. «Как с этим бороться, Владимир Викторович?» Мастер тут же ответил: «Пишите много, пишите плохо. Но пишите постоянно, не останавливаясь ни на неделю, ни на день. О вдохновении забудьте. Всегда можно извлечь что-то даже из плохой страницы. Но ничего не вытащишь из ненаписанного. Из белого листа. Запомните это, друзья».

В столовой института, где студентам полагался бесплатный обед, Мастер сидел как сокол среди своих голодных птенцов, которые, растопыривая крылышки, набивались на халяву, и поучал неторопливого Яшумова, выделяя его из других. Как пример как не нужно писать: «Вы перфекцио-

нист, Глеб. Вы всё время добиваетесь совершенства в своём письме. Которого добиться невозможно. – Смотрел на культурного студента, умеющего обращаться с вилкой и ножом. Закончил с улыбкой: – Вам нужно пожить в нашем общежитии. На Добролюбова. Пройти горнило его. Остаться целым. Тогда и писать будете хорошо. Сочно».

У Яшумова как будто заболели зубы. Откладывал нож и вилку.

В легендарном общежитии Литинститута он был всего один раз. Когда приехал на первую сессию и получил в деканате направление, чтобы заселиться. На четвёртом этаже семиэтажного, наверное, ещё сталинского дома он прошёл длинным тесным коридором, удивившись чрезвычайно. Обшарпанные грязные стены с надписями разного содержания, часто нецензурного, рваный линолеум под ногами, свет сверху только изредка, как в тюрьме. Это был коридор натуральной *общаги*, ночлежки, трущобы. Такой коридор уместен где-нибудь в Бронксе, в Гарлеме. Но вместо негров в коридор выскакивали жизнерадостные русаки. И парни, и даже девицы. Один высокий загнутый литератор стоял со скрещенными на груди руками, а другой – маленький – тянулся на носочках, обкуривал его стихами. Прямо под ноги Яшумову вдруг выпал ещё один долгогривый поэт. Видимо, после крепкого удара в челюсть. Яшумов поставил чемодан и помог парню сесть к стене.

С расстройства вдруг захотелось сильно в туалет. По ма-

ленькому. Зашёл за дверь с буквой М.

Грязь и едкий запах убивали. Покачивался над унитазом, закрывал глаза. Вдруг с удивлением прочитал надпись на стенке – ДЕРЖИ ПРИЦЕЛ! Попятился: чёрт! Хотел помыть руки – кран сорван. Вышел в коридор так.

Увидел, что чемодан потащил тот парень, которому помог. Долгогривый пьяно раскачивался, цеплял чемоданом стену. Яшумов догнал, отобрал чемодан.

Словом, Глеб прошёл тогда весь коридор. Прошёл. И больше в него не вернулся. Пришлось пойти опять на квартиру друга отца, профессора Саблина. В Палашевский переулок. Куда звали всегда, и где уже жил во время вступительных.

Толя тоже жил в Москве у знакомых, но в общагу навещался. И частенько. С бутылкой ходил по комнатам. Чувствовал себя своим. Садился на чью-нибудь кровать, дымил, наливал однокашникам, сам выпивал, спорил до хрипоты. О литературе, конечно. О том, как писать. Один раз зажгли хороший фонарь. Под левым глазом. Мастер на занятии удивился – чёрный фонарь хорошо гармонировал с волнистыми рыжими волосами студента. И походило, что студент фонарём гордился. Учись, глазами показал Яшумову на соседа с фонарём Мастер.

После лекций Колосов и сам не раз пытался затащить друга в общагу. Но – у Яшумова возле метро сразу начинали заплетаться ноги, и с прямой спиной он уходил куда-то вдаль.

По-видимому, к своему Палашевскому переулку.

Возвращались с сессий всегда в дешёвом летящем плацкарте. Утром, проснувшись, хорошо закусывали. На боковушке в проходе вагона выкладывали еду на столик. Еды было много. И Саблины наталкивали Глебу в сумку, и Толю знакомые пустым не отпускали.

«Станция Колпино, – проходя вагон, громко объявляла проводница. – Стоянка одна минута». Железнодорожный вокзал в Колпино и не вокзал вовсе – вокзальчик. Глеб смотрел на низкое зданьице в форме ангара. Которое через минуту поплыло, поехало назад, побежало и исчезло.

Яшумов не мог знать в то время, что где-то здесь, за этим вокзалом, уже бегает в школу его судьба в коротком коричневом платице с фартуком на ляпочках...

– Ну, будем! – подлаживаясь к лексикону друга, тыкал в его стакан своим. Впрочем, перед этим всегда взглянув на просыпающихся перед Питером зевающих пассажиров. В раскрытом купе. Наискосок.

Демократичный и нищий как церковная мышь Колесов не признавал никаких СВ и Красных стрел, профессорский сынок Яшумов – тоже. Только плацкарт.

– Ну, будем! Бывай!

– Неправильно тостуешь. «Будь здоров» надо говорить. «Не кашляй».

Точно!

Глава вторая

1

Яшумов колебался, ехать в Колпино или нет. Простудившаяся жена уже три дня лежит в постели в родном доме. Окружена заботой родителей. Медсестра с уколами приходит каждый день – так нужно ли ему быть там? Мешаться, путаться под ногами? И все же решил – нужно. В воскресенье – поехал. И поездка его в Колпино и обратно – превратилась в незабываемое путешествие.

Утром на Московском он брал штурмом восьмичасовую электричку. Влез. В вагоне стоял в длинной шеренге людей в затылок друг к другу. После остановок, когда шеренга немного рассосалась, даже сел. Между полной женщиной с большой коробкой и мужчиной, худым, но с купленным пылесосом в обнимку.

В Колпино сошло много людей. Толпа с огороженного перрона, точно в контрольно-пропускной пункт, теснилась в небольшой вокзальчик (неужели всё тот же?), проходила через него и вытекала на привокзальную площадь.

Ну а дальше, как сказала однажды жена, нужно пройти вдоль шоссе метров сто, не сворачивая никуда, повернуть на Ижорскую улицу – и на чётной стороне третья усадьба от

угла.

Шёл вдоль довольно оживлённого шоссе. Смотрел на чёрные зимние деревья, уходящие в небо, на частные дома с обеих сторон шоссе.

Из одного дома, видимо, недавно на заснеженный газон выкинули пластиковый синий стул со спинкой. Прямо к дороге, где пролетали машины. Бесплатным подарком. Идущему человеку (Яшумову) можно было теперь представить картину: многопудовый дядя пришёл доверчиво в гости, сел на этот стул, стул треснул, и многопудовый опрокинулся на пол. «Что такое! Вы так меня встречаете?!» Дядю с трудом подняли под руки и посадили. К примеру, на диван: «Извините, дорогой гостенёк! Выпейте поскорее рюмочку!» Яшумов улыбался.

По левой стороне шоссе прямо навстречу машинам ехала грузная старуха в коротком пальто. Старательно надавливала на педали явно маленького для неё велосипеда. На багажнике укреплена была продуктовая корзинка. Корзинка – полная.

От удивления встречный водитель на Тайоте разом стал. Лёг, высунулся из двери:

– Куда ж ты едешь, старая дура? Навстречу движению? А?
– Ничего. – крутила педали дальше отважная. – Обьедешь. Рули себе знай.

Для петербуржца Яшумова всё это казалось удивительным. *В диковинку*, как сказали бы простые жители Колпино.

Только покачивал головой.

Родительский дом Силковой-Каменской оказался каким-то плоским. Походил на китайскую фанзу. Но раскрытые ставенки – русские, под старину, в рисованных цветочках.

Надавил кнопку звонка на простых деревянных воротах. Надавил ещё. Ждал. Тишина. Осторожно вошёл во двор. С горба крыши на край сразу сбежал кот. Чёрный. Как антрацит. И смотрит. Жёлтыми фонариками... Мимо пролетел, сиганув на землю. И побежал к крыльцу. Смурной, непредсказуемый. Чёрт бы тебя побрал! По дорожке, расчищенной от снега, пробирался следом, оглядывался. Кого ещё тут ждать? Маленькую шавку на штанину? Волкодава?

Но его уже увидели из окошка – и на крыльцо выбежали Анна Ивановна и Фёдор Иванович. Хозяева. Прямо раздетыми:

– Проходите, проходите, дорогой гостенёк! Ждём, ждём вас не дождёмся!

Яшумов вытирал ноги о половик на крыльце, здоровался и зачем-то говорил:

– Только стул синий не подставьте.

– Какой стул? Какой синий? – не поняли супруги.

Яшумов покрутил неопределённо рукой, извинился и вошёл в услужливо распахнутую дверь. А потом ещё в одну, тоже раскрытую Фёдором Ивановичем.

В прихожей разделся. Его сразу повели к больной. Шёл

через проходные низкие комнатки, заставленные старой, советской ещё мебелью. Инстинктивно пригибал голову, боясь удариться о притолоки дверей. «Она в комнате бабушки и дедушки. Любимой своей комнате», – сообщали ему.

Жена полусидела в старинной железной кровати с пампушками, укутанная до пояса тёплым одеялом. В шерстяном свитере и ко всему – с завязанным горлом. Чёрный муравейник её как-то примялся и словно поблек.

Припал к больной, обнял, почувствовал, что и у самого заскребло в горле. Гладил спину жены, смотрел в коврик на стене, ничего на нём не понимая.

– Ну-ну, – успокаивали его. – Не заразись только. Видишь, я уже вполне. Сижу. И температура нормальная. Только к вечеру. – Подмигнула родителям: – Как доехал? В электричке не раздавили?

Яшумов уже сидел на стуле. Но не говорил. Поворачивался к её родителям. Слово за поддержкой. Но те улыбались от умиления, глядя на мужа и жену. Прямо лебедь и лебёдушка. Вон, как на мамином коврике на стене. Встретились.

– Гостя-то покормить, наверное, надо, – стряхнула их сладкий сон дочь. – С дороги ведь человек.

Родители всполошились. Опять повели «дорогого гостенька». И тут Яшумов повёз за собой какую-то собачонку. Дрыгал, дрыгал ногами. Собачонка не отцеплялась. (Не зря опасался во дворе.) «Зигмунд, место!» И Зигмунд разом исчез. Как будто и не было его. Яшумов продвигался, отряхи-

вал штанину. Колпинские чудеса продолжались.

Кухня оказалась самой большой комнатой в доме. Это была, как теперь говорят, кухня-столовая. С современными ящиками по стенам, с мойкой, разделочным столом, со всякими кухонными приборами (*прибамбасами!*). Яшумова посадили за длинный (крестьянский?) стол лицом к двум светлым окнам на улицу.

Подкладывали еду хозяева и справа, и слева. Яшумов не отказывался, с аппетитом ел. Особенно нравился ему холодец. Из свиных ножек. Такой же нередко готовила незабвенная няня, Арина Михайловна. Но рюмку свою закрывал рукой. И всё же прямо спросил, как так получилось, что Жанна заболела. Ведь поехала в Колпино абсолютно здоровой. Родители на мгновение смутились. И стали объяснять. В баньке нашей простудилась, в баньке. На огороде. (Как это?)

– Понимаете, – говорила Анна Ивановна, – у дочи привычка. Когда приезжает из Питера, обязательно моется в баньке. Вы не подумайте! У нас и ванная есть, в доме, но у Жанки привычка такая, смывать всю грязь после Питера. В баньке. Понимаете? И я с ней тоже пошла. Уже вечером. Разделись. Только намылились, и котел опять полетел. (У нас газовый котёл там, газовый. Понимаете?) И вот сидим на полкё. Обе в мыле. Я высунулась на волю, стала отца кричать, а он в это время, как всегда, у соседа болтал. Понимаете? В доме. Ничего не слышал. Ну и пришлось холодной водой кое-как смыть мыло, накинуть одежонку да бежать в дом. Я-

то ничего, привычная, а Жанку прохватило. И всё ты! –глянула на мужа. – Сколько говорю: наладь котёл!

Слушая супругов, Яшумов ощущал себя иностранцем, не понимающим половины слов. Всё время переспрашивал: что вы сказали? как? Однако понял главное: простыла в бане, в своей, крестьянской. Был поражён: XXI век, живут в городе, и такие патриархальные привычки. Хотя... хотя зачем Жанна сказала неправду по телефону, что после вокзала простудилась? Когда шла сюда, в этот дом, и была в тонких колготках?

В простенке между окнами висела какая-то исписанная фломастером бумага. Всё время отвлекала. Всё время хотелось прочесть её. Поправил очки, привстал, взгляделся:

«Инструкция. Настенная. Если кот наср... прямо в доме – его сперва активно тычут в дерьмо. И выкидывают во двор. Только так можно добиться какого-то порядка. Другой вариант. Везде в углах наставить больших чаш. Типа артезианских колодцев. Или микро джакузи. Но тут может возникнуть одна закавыка: кот присядет в чашу, но струями будет лупить в стену. Вроде парикмахера в парикмахерской. С пульверизатором. Чёрт бы задрал его совсем! И придётся опять вышвыривать его во двор. Чёрт его задери совсем! В общем – инструкция. Настенная».

– Что это? – с растерянной улыбкой повернулся к хозяевам.

Силковы с облегчением рассмеялись. Фёдор Иванович с

готовностью стал пояснять:

– Это Николай наш повесил. Брат Жанки. Он у нас военный. Вот и привык как в казарме. В позапрошлом году был с семьёй. Вот и учудил.

Брат Жанны, оказывается, не без юмора. Только чёрного. Яшумов посматривал на гуляющего возле стола кота. По кличке Барс.

– А как же ваш Зигмунд? К нему инструкция относится?

– Не-ет, – смеялся Фёдор Иванович. – Зигмунд молодец. Всегда. с... в одном месте. Только под яблоней возле ворот. Удобрят.

Скабрёжности простодушных колпинцев, и вывешанные на стену когда-то, и произносимые сейчас за столом – удручали. От стыда Яшумов не знал, куда смотреть.

Видя, что гость напрягся, Анна Ивановна подёргала мужа: придержи язык- то, не в гараже своём среди забулдыг!

Когда шёл обратно к жене, Зигмунд попытался было опять... Его куда-то разом задвинули.

– Что же ты сказала мне, что простудилась, когда шла сюда с вокзала? Оказалось, всё из-за вашей бани.

– Я правда сильно промёрзла в тонких колготках. Ну а банькой, холодной водой, добавила... Ты горчичники мне лучше поставь. Не разучился?

Яшумов побежал к Анне Ивановне.

Обратно явился с полотенцем, тёплой водой и горчичками. Покорно согнутая голая спина жены вызывала слё-

зы. Осторожно накладывал мокрые листики. «Щекотно!» – кокетничала Жанна. Накрыл полотенцем и укутал одеялом. «Сиди. Десять минут». Сам сидел рядом и рассказывал, что уже звонил ей на работу. «Знаю, что ты тоже позвонила. Но так будет надёжней. Бюллетень здесь тебе откроют? Уколы не болезненны?»

Потом кормил. Как маленькую. С ложечки. Анна Ивановна помогала. Подавала и уносила.

Позвали самого обедать в столовую. Тесть попытался завести с образованным зятем умный разговор. Начал очень озабоченно:

– Смотри-ка, чего хохлы удумали. Да и наши. У меня друг закадычный на Украине живёт. Ваня Нечипор. Вместе служили. И как я теперь к нему? Или он ко мне? С какими шарами? Что думаешь по этому поводу, Глеб Владимирович?

Яшумов чурался всякой политики. Всегда. Какой бы она ни была. Во что бы ни рядилась. (Хотя избегать, чураться – это тоже политика.) Как и отец когда-то. Яшумов Владимир Константинович. Которого в институте за аполитичность всё время задвигали. (Не выступал, не поддерживал «нашу родную», а уж о том, чтобы вступить в неё – это только в страшном сне.) Нередко Владимир Константинович говорил со смехом домочадцам: «Я семафор на железной дороге. Притом всегда открытый. Даю дорогу молодым». Поэтому его потомок, сын, просто не знал, что ответить тестю с требовательными, «переживательными» глазами... Как буд-

то не услышав вопроса, стал расспрашивать Фёдора Ивановича о домашнем его хозяйстве. Каких животных он содержит.

Фёдор Иванович смотрел на длинные волосы зятя. Под пятьдесят уже, а всё под стилиягу косит. Да ещё нос картофе-линой. Разделённой надвое... Не хочет говорить, скрывает, а сам знает всё. В столицах все всё знают. Фёдор Иванович нехотя говорил о скотине и птице на подворье. Держим хря-ка, на мясо, десяток кур, двух индюшек. Посмотрел ещё раз на зятя. Добавил: – Петуха. – Яшумов, как понимающий, кивал.

После обеда смело уже один пошёл в комнату бабушки и дедушки. От Зигмунда, который втайне от хозяев повис и поехал... отбилса самостоятельно.

Но в комнате у жены ждало другое испытание.

Здесь при полной свободе от Яшумова в маленьком переносном телевизоре царил любимец Жанны – непревзойдённый Макс. Пинальщик и костолом на все времена. С душевным басом. Его железобетонной лысой головой, казалось, можно было пробивать стены!..

Яшумова поражало всегда, что неудавшаяся студентка медучилица, бросившая его после первого курса, трусаящая ставить даже уколы на практике, до жути боящаяся трупов в морге – так любит теперь смотреть подобные фильмы. С драками, убийствами, с расчленёнными трупами, с натурализмом запредельным. Невольно напрашивалась мысль – де-

вушка вытесняет (да уже вытеснила!) такими фильмами студенческий свой страх. Всё это очень соотносилось с теорией Фрейда. Сама же «студентка» была спокойна – уж здесь-то зануда не будет ехидничать и насмехаться. Не то место, не дома. И зануда покорно сел рядом.

Перебирал на тумбочке шприцы в упаковках, лекарства, плоские коробки с ампулами. Припоминал, какое лекарство от чего. На экран не смотрел. Впрочем, от примитивнейших двух мелодий, повторяющихся постоянно, от истеричных громких криков, мата, всяких мужских смачных кряков при мордобое – деваться было некуда.

Жанна сама выключила своего Макса.

– Ночевать, конечно, ты не останешься. Поэтому отправляйся на вокзал сейчас. Поедешь дневной электричкой. Вечером тебя просто задавят. Колпинцы ринутся в Питер. Обрато. К завтрашней работе. Не волнуйся, я буду всё время звонить.

Ну что ж. Яшумов обнял жену, опять похлопал по спине, разглядывая Лебеда и Лебедушку, и вышел из комнаты бабушки и дедушки.

На крыльце обнял тещу и тестя и пошёл позади катящегося под свою яблоню Зигмунда. Который торопился облегчиться там. Чтобы успеть потом цапнуть. Зацепиться и поехать на уходящем госте.

В вагоне, в промёрзшей, словно лубочной, раме окна Яшумов смотрел на движущийся зимний пейзаж. С улыбкой

думал: «Барс» – это можно как-то понять. Но почему – «Зигмунд?» Где, на каком концерте услышали?

2

«Не-ет! – кричал Яшумов во сне. – Не буду переходить на виндовс 10! Не буду!» Зайчик в майке дюрасел убежал от проклятой винды. Винда, как прыгающий осьминог, гналась за зайчиком, пыталась ухватить щупальцем, зажать. «Не-ет! – кричал Яшумов. – Я буду жаловаться президенту! На горячей линии!»

Схватился за руку жены. «А! – вздрогнула та. – Чего тебе?» И снова засопела.

За завтраком она сказала:

– Сегодня прямая линия с президентом. О пенсиях будет говорить.

– И что?

– У нас никто не будет работать.

Хотелось сказать: да вам-то всем какое дело до президента? Кроме усатого пенсионера Шубина? Вам всем до пенсии – как до луны.

Недавно обедал с Плоткиным и тоже удивлялся: «Сколько можно о пенсиях говорить? О пенсионном возрасте? Григорий Аркадьевич? Что ни включишь – только об этом». – «Ну, эта тема навек. Как пропавшая группа Дятлова. А вообще, Глеб Владимирович, не загадывайте, не зарекайтесь – судьба за дверью стоит». Умный чёрт, посмотрел тогда на ведуна главный...

На работе всё было обычно, спокойно. Редакторы сидели, уткнутые в мониторы. Плоткин катался с креслом, подбадривал команду. Но Акимов, который, казалось, никогда не вылезал из-за своего стола (жил возле него, ел за ним, спал, другие дела делал) – сейчас ходил по кабинету и зябко ёжил-ся. Был весь в себе.

Яшумов ждал.

– Глеб Владимирович, меня сегодня не будет. Всё остав-ляю на вас. Смотрите в двенадцать прямую линию. Вас ждёт сюрприз. – И он продолжил ходить. Но поглядывал на под-чинённого уже со значением.

Яшумов вернулся к себе. Занялся привычным. Просмат-ривал две новые рукописи, которые принесли сегодня редак-торы. На папку Савостина, которая так и валялась на под-оконнике... не смотрел. Забыл о ней. Навсегда!

В обед увидел всех сотрудников, сгрудившихся у монито-ра Плоткина. Сам Гриша тут же позвал:

– Глеб Владимирович, подойдите скорей! Смотрите – наш Пузырь!

Яшумов не поверил глазам своим: директор Акимов стоял рядом с Савостиным в группе петербуржцев. Построенных для прямой линии. Пузырь и Соломина рядом. От восторга у Пузыря глаза готовы были выпрыгнуть и пуститься в пляс. Савостин криво, снисходительно улыбался.

Яшумов не слышал, не понимал, о чём говорит человек впереди, перед которым держат микрофон. Яшумов не мог

оторвать взгляд от двух... *корешанов*. «И куда теперь мне от них деться?» – повернулся к сотрудникам. «Нам, Глеб Владимирович. Нам», – уточнил Плоткин.

Савостин явился на следующий же день. У Яшумова, как всегда, без всяких церемоний развесил свои первобытные лохмы по вешалке. Поправил перед зеркалом петуха (или попугая?) и предстал перед главным редактором в своём *рабочем прикиде* – обтягивающие штаны цвета беж, шейный платок, рубашка апаш.

По-хозяйски сел, через стол протянул руку:

– Смотрели вчера прямую линию с президентом, Глеб Владимирович?

– Нет, – сказал Яшумов, глядя в сторону. – Не смотрел. – Стал перебирать листы рукописи, готовя себя к испытанию.

На этот раз встреча редактора и автора прошла без скандала. Хотя бы без скандала.

Но вечером в вагоне метро Яшумов не мог никуда деться от проклятых цитат Савостина. Которые начали возникать везде. Прямо в воздухе.

Первое предложение появилось над лохматой шапкой старика, сидящего напротив: «Макс атаковал сверху, как противный двуногий бульдог, а пороссячим носом успел хрюкнуть». Яшумов зажмурился, затряс головой. Старик же мгновенно понял, что напротив сидит сумасшедший. «Так обычно и действовал российский спецназ, но вот проблема, не люди это!» – добавилось над несчастным стариком. О,

господи!

Другая цитата выползла прямо из маленького уха полной дамы. В виде облачка: «Как Артур и ожидал, это была девушка, с вполне сформированными нормами. Тощие ножки неожиданно оказались босыми и загорелыми». Яшумов готов был плакать. Полная дама передёргивалась от брезгливости и возмущения. Даже встала и пошла к двери. «Артур плюнул ей вдаль», – добавил Савостин даме. Коротко, как всё гениальное. Да что же это такое-то, а?

«Теперь Макс лишился возможности осуществить свою давнюю мечту – стать всемирным кронштейном», – возникло вдруг из носа у длинного парня, висящего на верхней штанге. Парень был удивлен. Поворачивал голову, искал: откуда это? Даже не мог подумать на пригнувшегося Яшумова.

Выпав из вагона, Яшумов потащил цитаты с собой. Они стали возникать поверх людей, торопящихся из метро наверх. Яшумов не успевал читать их!

Измученный, брёл к дому: «Несмотря на короткую седую бороду, лысую и выбритую голову, худящее туловище, он не выглядел конченным человеком». Господи-и.

Дома увидел испуганную жену: «Девушка была умная, кроме того, её насиловали не в первый раз, и от этого действия терять голову и разум – непростительная роскошь».

– Что с тобой? На тебе лица нет. Ты заболел? Отравился в своём кафе?

«Артур напустил на себя выражение попранной невинно-

сти и ушёл в ванную».

Ночью Яшумов опять кричал во сне: «Не-ет! Не буду переучиваться на виндовс 10! Не буду! Я – Яшустин! (Несчастный забыл свою фамилию. Создал гибрид.) Я не хочу выходить на прямую линию с Президентом! Не хочу! Не-ет! Я не Савостин! Я – Яшустин! Спаси-ите!»

3

На симфоническом концерте в филармонии жена сидела рядом. Почему-то ужималась в кресле, пригибала голову. Точно притащили её в этот зал насильно, и теперь она не знает, как из него сбежать.

Яшумов тоже был напряжён. Переживал за музыку, за музыкантов на сцене. Как будто те не соответствовали. Как будто плохо играли. Как будто были виноваты, что рядом с ним сидит испуганная жена.

Он привёл Каменскую в филармонию в первый раз. Он хотел поразить её. Однако та, подняв голову, уже рассматривала завитушки на колоннах. И дирижёр на сцене только разводил руки. Как бы говорил Яшумову: ничего не попишешь, дорогой, – деревня. Точнее – Колпино.

Во время пронзительного, щемящего адажио, от которого у Яшумова навернулись слёзы, она вдруг стала смотреть круто вверх, на люстру. Точно та должна была вот-вот оборваться и полететь ей на голову.

Невольно Яшумов тоже смотрел. Люстра походила на гигантское яйцо Фаберже. И, действительно, сорвись она – трудно даже представить, что началось бы в зале. Страх же ны оказался заразительным.

Яшумов вывел жену из филармонии. Сразу же после первого отделения. От греха подальше...

...В детстве Глебка Яшумов переиграл почти все упражнения и этюды Черни. В пять лет он старательно долбил их под руководством мамы. А уже в семь – наяживал. В быстром темпе. Старинное пианино с подсвечниками постоянно гудело, тряслось в гостиной и как будто даже передвигалось. «Держи темп! Не убыстряй! Держи спинку!» – командовала мама.

Деревенская Алёнка (внучка домработницы), в первый раз увидев пианино в гостиной Яшумовых, осторожно подошла к нему и спросила у бабушки: «В этом ящике прячется музыка, да?» Бабушка Арина, но не Родионовна, а лишь Михайловна, только гордо усмехнулась. В фартуке в кружевах продолжила обметать большую вазу мягким султаном на палке.

А когда, поев, выбежал маленький Моцарт и с прямой спинкой задал 25-й этюд Черни, когда всё загудело и затряслось – Алёнка отпрянула, схватилась за руку бабушки. «Вот тебе и ящик!» – рассмеялась Арина Михайловна.

Через год-полтора юные Алёнка и Глеб играли «на ящике» уже в четыре руки. «Держите темп! – командовала мама, подсовывая к детям щёлкающий метроном. – Темп! У обоих прямые спинки! Темп! Раз-два! Раз-два! Глеб, не гони! Алёна, молодец!»

Иногда сама выходила со скрипкой, упирала её в подбородок и играла с детьми легкие пьесы для скрипки и фортепиано. Приучая их к ансамблю. «Глеб, не колошмать! Заби-

ваешь меня! Алёна, молодец! Умница», – гладила талантливую головку с косичками.

Нередко брала детей с собой на репетиции оркестра. В филармонию.

Мама была *вторая скрипка и библиотекарь*. Перед началом репетиции всем музыкантам она раздавала ноты. Ходила и раздавала, чтобы те смогли играть. Получалось, что без мамы репетиция была бы просто невозможна (как же играть музыкантам без нот?). Дирижёр, сидящий на высоком стуле, говорил маме: «Спасибо, Надежда Николаевна». И поднимал руки. И начинал дирижировать.

Странный был этот дирижёр. С руками-дрожалками. С пальцами как будто без костей. Он особенно трепетал ими, когда хотел добиться от оркестра пианиссимо (очень тихой игры).

В пустом зале маленький Глебка сидел далеко от сцены. Как будто прятался за кресло. Алёнка всегда начинала подкрадываться к играющему оркестру. На цыпочках. И застывала прямо под махающим дирижёром за отгородкой.

В паузах тот поворачивал голову и смотрел вниз, поджав на высоком стуле одну ногу, как аист: «Что ты хочешь, девочка?» Мама на сцене сразу громко говорила из своего ряда: «Алёна! Пойди и сядь на место!» Но Алёнка как будто не слышала – во все глаза смотрела снизу на чудо-дирижёра. С пальчиками-дрожалками, которые сейчас свисли для отдыха. «Пусть стоит, – улыбался дирижёр. – Будет получать

музыку из первых рук». Отворачивался и снова начинал потрясывать оркестру кисельковыми своими ручками.

Сам глава семьи Владимир Константинович Яшумов на премьеры новых симфоний ходил всегда. Он сидел с двумя детьми в центре зала. Мальчиком и девочкой. Девочка по правую руку от него, мальчик – по левую. Честно говоря, профессору Яшумову медведь на ухо наступил, но Владимир Константинович очень гордился своей женой-скрипачкой, всегда уверенно и чётко ударяющей смычком по струнам. И особенно был горд, когда та вставала со всем оркестром под аплодисменты зала – высокая, статная, в концертном длинном платье с цветком у плеча и совсем крохотной скрипкой, похожей на ребёнка. В такие минуты Владимир Константинович, размеренно хлопая, испытывал настоящий катарсис. А дети рядом (Глебка и Алёнка) хлопали изо всех сил. Глебка дубасил в ладошки, Алёнка готова была лететь на сцену за своими ручками. Как за птичками.

«Она ведь на колу дырки вертит», – говорила про внучку хозяйке Арина Михайловна, отпивая чай с блюдца по-крестьянски – обстоятельно, не торопясь. Глебка уже знал, что означают слова «на колу дырки вертеть». Это когда тебя постоянно дёргают за руки, не дают играть этюд Черни. Чтобы самой поскорей сесть к пианино и «вертеть на колу дырки».

«У неё ведь мать запойная», – иногда, словно вспомнив, говорила хозяйке Арина Михайловна. И вздыхала. «Как это?» – сразу возникал маленький Глебка. Вопросительным

знаком. Но мама и няня переводили разговор на другое.

Алёнка жила где-то на Петроградской стороне. Вместе с «запойной». В каком-то общежитии. Но дневала и ночевала у Яшумовых, у бабушки. «У девочки абсолютный слух, – за бокалом вина говорила подруге своей, виолончелистке Кургузовой, Надежда Николаевна. Под грохот пианино с усердными детьми. – Её нужно серьёзно учить. За полтора года она обошла даже Глеба. Который играет с пяти лет».

Подруги смотрели на двух усердных, которые в четыре руки наяривали шестой этюд Черни.

Мать Алёнки (запойную) Глебка видел только один раз. Возвращаясь однажды из школы. «Я вам не отдам дочь! – кричала растрёпанная странная тётенька на площадке, вытолкнутая туда бабушкой Ариной. – Не получите её! Алёнка моя! Слышите? Никогда! Я вам не запойная! Вот вам, вот! – показывала она закрытой двери целых две фиги. – Слышите? Куркули?»

Качаясь, опасная тётенька стала спускаться по лестнице. Глебка с портфелем распластался на стене. «Не бзд..., малый. Тебя не трону», – дыхнули Глебке прямо в лицо. И она дальше спускалась, мотаясь из стороны в сторону. Ей было тесно даже на широкой лестнице!

Потом она, как сказала бабушка Арина, «умотала в Сибирь». С каким-то «хахалем». Глебка спросил у Алёнки: кто такой «хахаль»? Семилетняя Алёнка любовно выводила на бумаге карандашом абрис китайской вазы Яшумовых, кото-

рую всегда обмахивала султаном бабушка: «Это фамилия такая. У дяди Гены. Дядя Гена Хахаль. – И добавила, любовно выводя последний, крутой изгиб: – Мама всегда любит его, любит, а дядя Гена Хахаль лежит и избегает... Смотри, как красиво получилось».

Алёнка поселилась у Яшумовых (у бабушки). А через год, прослушав, её взяли в ССМШ (среднюю специальную музыкальную школу). По специальности фортепьяно.

Яшумовы купили второе пианино. И его пришлось поставить в комнатку Арины Михайловны. Бабушка юной музыкантши теперь постоянно вздрагивала на кровати, когда отдыхала вечерами. А иногда от бурных напорных звуков пианино её начинало трясти. Как на катящейся по плохой дороге телеге. «Чёрт тебя! – просыпалась Арина Михайловна и утирала слюну. – Перестанешь ты или нет? Одиннадцатый час ночи!»

– До одиннадцати имею право! – весело отвечала внучка. И ещё пуще наддавала.

– Наш маленький Ломоносов в юбке, – всегда гладил головку маленькой музыкантши Владимир Константинович. По утрам, за завтраками.

Глебка от Алёнки безнадёжно отстал.

Глеб Владимирович смотрел в окно на весеннюю Мойку. На Мойку уже без льда.

Сегодня в небе обычное для весеннего Петербурга солнце. Затёртое, скудное. Упали в воду Мойки перевёрнутые дома. Вода меж берегов гладкая, тишайшая. Будто и не вода это вовсе, а перевёрнутое небо, упавшее в реку вместе с домами. Яшумов всё смотрел. Думалось о чём-то далёком, несбывшемся, потерянном.

Как всегда, привёл в чувство зазвонивший телефон. Конечно, опять к Акимову. И понятно зачем. Даже не стал собирать всю рукопись на окне, просто затолкал часть её в папку и понёс как мусор.

Проходя редакцию, удивился – на своих местах были только художник Гербов и верстальщик-компьютерщик Колобов. И оба они сомкнули ладони в замок и помотали Главному, мол, держитесь, Глеб Владимирович, мы с вами.

В кабинете Акимова вся редакция сидела вдоль двух стен. Шпалерой к внушительному столу с директором. Никакого другого стола (для сотрудников) предусмотрено не было. Просто сидели бедные родственники. Которых зовут сюда раз, ну, много два раза в году.

Все заулыбались, когда вошёл Яшумов. Пришёл спаситель. Спаситель поможет. Один только Плоткин не повер-

нулся. Подавшись вперёд, смотрел на начальника за столом. Смотрел неотрывно. С каким-то разоблачающим восторгом: ну, что ещё сегодня выдумаешь? Но Акимов не видел никакого Плоткина, Акимов перебирал на столе бумажки.

Показал Яшумову на стул. Получалось, Глеб Владимирович удостоился чести сесть даже перед столом начальника.

– Галина Петровна, все собрались? – повернулся начальник к секретарше, сидящей с блокнотом и ручкой. Та подтвердила: все, Анатолий Трофимович.

Акимов откашлялся и начал как на сцене в театре:

– Господа, я собрал вас...

Гриша Плоткин тут же подхватил:

– ...чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие: к нам едет ревизор!

Все рассмеялись.

Акимов смотрел на храброго еврея: умный, да? отважный, да?

Тот сразу на попятную: цитата, всего лишь цитата, Анатолий Трофимович. Мол, продолжайте. Внимательно слушаем вас.

Акимов продолжил:

– Буду краток. Вчера я был в отделе культуры. В администрации губернатора. У Воскового Вениамина Антоновича. Он сообщил мне приятную новость: администрация губернатора приняла решение выделить нашему издательству пять грантов. Для пяти наших молодых, но перспективных

авторов, которые не могут опубликоваться за свой счёт. Голубкиной Галине, Гриндбергу Михаилу... ну и остальным. Вы их знаете.

Все сразу оживились, а женщины даже заплодировали.

– Но есть ещё один вопрос, – поднял руку Акимов. – Наш, текущий... В наше издательство ходит уже несколько месяцев Виталий Савостин. Тоже молодой и тоже перспективный автор. Ходит, повторяю, уже не один месяц. Но почему-то наш главный редактор никак не может (или не хочет?) сбавываться с ним. Видите, Глеб Владимирович, я ничего не скрываю, говорю при всех. Так вот. Мы с Вениамином Антоновичем решили передать перспективного автора под крыло Плоткина Григория Аркадьевича. Теперь курировать Савостина будет он. Надеюсь, вы не против, Глеб Владимирович? – повернулся к Яшумову: – Теперь вы сможете заниматься более приятными авторами.

Вот это ход! – отпали сотрудники.

Яшумов вскочил, тут же сунул растрёпанную папку на колени Плоткину. Метнулся к столу и затряс руку директора:

– Вы спасли меня, Анатолий Трофимович, честное слово, спасли! Спасибо вам, спасибо! (Что называется, век не забуду!)

И был действительно рад, искренен. Однако когда быстро шёл коридором к себе, почти не слышал Гришу, который бежал с листами Савостина и извинялся, что ни сном ни духом! Глеб Владимирович! Поверьте!

В кабинете главред собирал с подоконника оставшиеся листы:

– Я правда счастлив, Григорий Аркадьевич. Честное слово. Я освободился от Савостина. Но здесь мне вряд ли уже работать. Вот – держите! – добавил кучу листов на грудь Плоткину.

– Да я-то теперь куда? – чуть не заплакал Гриша Плоткин. Он же – Гриша Пушкин. – Глеб Владимирович!..

...После работы, свободный (ни одной савостинской цитаты в голове!), вышел на канал Грибоедова, к мосту о четырёх львах. Издали больше похожих на верных псов, охраняющих мост. Терпеливо ждущих, когда пройдёт по мосту, как дух свят, сам хозяин – Александр Сергеевич Грибоедов.

Тоже шёл. Почему-то не смотрел ни на львов, ни на воду канала. Только под ноги. Словно ощущал в крови гудящее время. Никаких суеверий, примет, связанных с мостом, – только ударяющее в уши красное время. Отец тоже всегда тут ходил. Не верил тогда его ощущениям. А теперь и сам всё это испытывал.

На противоположной стороне канала обернулся. Львы, казалось, морщились, отворачивались, готовы были чихать от ползущего по берегу и пукающего дымом автомобиля. Но всё равно после моста со львами стало на душе легче.

Дома ждала неожиданность – Анна Ивановна приехала из Колпина. Одна. Без Фёдора Ивановича. Привезла дочери и зятю свежую курицу. «Рубленную» сегодня. Прямо утром,

Глеб Владимирович.

Яшумова передёрнуло от слова «рубленную». Но поблагодарил. И понял: тёща останется ночевать – темень за окном. Пригласил поужинать.

– Да мы с дочей уже натрескались, – опять по-простому весело ответила Анна Ивановна. – Разве только чаю пошвыркать с вами. – И снова села за стол.

Каменская по-быстрому накрыла мужу, села и снова отвернулась к телевизору над холодильником. К своему мужскому кино.

Однако Анна Ивановна не могла спокойно пить чай. Особенно когда у дочери в телевизоре начинались драки. Драки громкие, ментовские, отвязные. Анна Ивановна вздрагивала, пугалась, глядя на экран.

Яшумов ел, объяснял «несведущей»: «У них работа такая, Анна Ивановна. Бить, пинать людей и при этом громко крикать. По-мужски. Знаете, так бывает, когда раскалывают чурбаны. Колуном. С громким криком. Так и здесь. Привыкайте».

Каменская нахмурилась. Выключила телевизор.

После ужина, извинившись перед Анной Ивановной, с ноутбуком Яшумов направился в спальню.

Решил посмотреть сайты с серьёзной литературой. Открывал, в общем-то, интернет-кладбища. Погосты. Искал могилы знакомых, читаемых когда-то авторов. Чтобы узнать, что те написали в своих гробах нового.

Неожиданно для себя набрал в поисковике – «Савостин». Поправился: «Виталий Савостин».

Ноутбук покрутил колёсико, загружая. Есть! «Виталий Савостин». Точно! «Война Артура!» Да что же это такое! Да куда же от него деваться! На серьёзном сайте. Невероятно!

Ночью опять снился гад Савостин. На этот раз он не пустил Глеба Владимировича к губернатору. Не давал прорваться. Они боролись возле высокой дворцовой двери в резьбе и узорах. Савостин пытался заломить руки Яшумова назад. Как спецназовец. Яшумов вывернулся и двинул Савостина в ухо. Тот щучкой улетел куда-то. Но тут на Яшумова навалились другие писатели губернатора, скрутили и повели. Как каракатицу какую. «Не-ет! – кричал Глеб Владимирович прямо в паркет перед глазами. – Не выйдет у вас! Не пройдёт! Не-е-ет!»

Анна Ивановна замолчала в постели рядом с дочерью. Вслушалась в темноту. «Не-е-ет! – доносилось из коридора. – Не дамся! Не-е-ет!»

– Чего это с ним?

– Не обращай внимания – закидон.

Дочь снова приобняла мать: «Ну говори, говори скорей, что он ещё про меня сказал».

Глава третья

1

В парке на Крестовском, на русских горках, взлетая к майскому синему небу и устремляясь оттуда вниз, в пропасть, Яшумов ощущал себя артистом Почта Банк. Таким же старым и всем надоевшим. Но там-то ради денег, а здесь ради чего? Ради Этой Женщины в шляпке горшочком? Которая сейчас рядом трясётся вся и визжит? Опять риторика без ответа.

Когда всё кончилось и колесница остановилась, вынимали Яшумова из железного устройства под руки. Как инвалида. Двое служителей. Ноги Яшумова подламывались. Жанна суетилась, помогала. Яшумов чуть не упал на живого ослика для катания детей. На его красивую попонку. Но вовремя подхватили и усадили на скамью. Почта Банк бормотал американское, стандартное, «я в порядке, в порядке». Не поднимал опущенную голову. Словно прятался в длинных потных волосах.

Двинулись по парку дальше. Почта Банк обнаружил у себя в руке сладкую вату. «Зачем?» – повернулся к жене. «Поешь сладкого, – успокоили его. – Станет легче». Сунул лицо в вату. Вынул лицо. Стал походить на Деда Мороза. Нор-

ма-альный Почта Банк.

До Жанны Яшумов никогда не таскался по таким многолюдным увеселительным местам. Избегал их. Поэтому предложил поехать в Александровский сад. В спокойный сад. Поклониться великим людям России. Глинке, Жуковскому, Лермонтову, Гоголю.

Видя, что жена колеблется, убеждал:

– К памятнику Пржевальскому, наконец, пойдём. Великому русскому путешественнику. Ты же читала его, Жанна. Я тебе давал книгу!

Но на все призывы просветителя по-детски капризно пропели:

– Не хочу к Сталину с верблюдом. Не хочу-у.

«К Сталину». «С верблюдом». Так извратить всё. Вот он – простой народ. «К Сталину с верблюдом». Знал бы бедный Николай Иванович, с кем сравнивают его теперь простолюдины.

– Ну хорошо. Давай тогда в Александровский парк. Не в сад – в парк.

Жанна начала что-то такое припоминать. И как хлопнула себя по лбу:

– Так это в Сашку, что ли? Так бы и говорил!

Яшумова опять передёрнуло. Теперь от «Сашки». Так опошлить название парка. Но заспешил за женой. К метро. Нужно было доехать до Горьковской.

В парке жена сразу повела его к Мини-городу. К Ми-

ни-Санкт-Петербургу.

Здесь она ходила и трогала бронзовые достопримечательности города. Будто грязными руками захватывала. Бронзовую мини-Биржу, бронзовую Петропавловскую, Исаакиевский собор. Казанский. Видимо, ощущала себя безнаказанным Гулливером. Яшумову хотелось вытащить её из «города» и отшлепать как девчонку. Однако когда огибали святого Петра с ключами, охраняющего город, Жанна и сама поглядывала на Охранника с опаской. А вдруг кудлатый и впрямь возьмёт её и отдубасит по попе.

Яшумов загорелся было повести жену в аллею «Памятные кресла». Рассказать, какие великие театральные деятели там увековечены. И живущие до сих пор, и почившие. Но ученица посмотрела на кресла только издали: «Готовые надгробия для могил стоят. Распродажа. На кладбище». Даже не приблизилась к алее.

Зато среди бронзовых Архитекторов за бронзовым столом вела себя как своя.

Жанна понятия не имела, кто эти люди. Но сразу уселась к ним на специальный, всегда свободный бронзовый стул. Улыбалась. Как среди друзей, *корефанов*. В горшке своём, разрисованном цветочками. В столь любимом коротком ситчике. Чуть только прикрывающем мощные наплывы бёдер. Которые всегда убивали просветителя наповал.

Нередко ещё молодым Яшумов тоже приходил сюда. И один, и вместе с Толей Колесовым. За вдохновением. Посме-

иваясь, по очереди сидели на этом стуле среди Архитекторов. Но особого прихода Музы потом не ощущали. А ведь верная примета, как уверяли многие литераторы. И не только литераторы.

Хотел назвать улыбающейся жене фамилии Архитекторов. Кратко рассказать, кто чем знаменит, но его опять потащили. На этот раз к павильону «Грот». К искусственно-му сооружению в виде нагромождений больших камней. С арочным входом. Яшумов не был здесь лет десять, и всё изменилось. Теперь, как доложили ему, здесь кофейня под названием «Большекофе», где готовят и подают лучший в городе капучино.

В кофейне внутри «Грота» сидели, как и положено сидеть в пещере – в полутьме. Только с космическими какими-то, еле святащими дырами по низкому потолку. Напиток действительно оказался вкусным. Как и пирожные... Тихо играла какая-то легкая музыка. *Клёвая музыка*, по аттестации рядом сидящей меломанки. Бармен впереди своего алтаря стоял, раскинув на стойке руки. Вроде гордого гуся с бабочкой.

Ещё ходили по парку. Постояли возле круглой клумбы на горке. Под названием «Цветочные часы». И без этих часов было понятно, что пора домой. Но Яшумов никак не мог забыть про Александровский сад. Не мог упустить возможность (редкую!) просветить как-то жену, приобщить её к серьёзному, вечному. Постоять в Александровском, покло-

ниться вместе с ней великим людям.

Жанна начала было опять артачиться – теперь уже сам потащил. И через полчаса (доехали на метро) были в Александровском саду.

Но тут, как на грех, сразу вышли к Пржевальскому. К бронзовому бюсту на постаменте в виде гранитной скалы. Где внизу, у скалы, действительно лежал, поджидал Николая Михайловича терпеливый верблюд. Но «Сталин с верблюдом», как известно, Жанне надоел. Прошла, даже не посмотрела.

Яшумов хотел было к Глинке Михаилу Ивановичу, но его и тут потащили в другое место. И потащили, к немалому его удивлению, к «Танцующему фонтану» возле здания Адмиралтейства. Неужели была здесь? Но с кем? С первым мужем? С каким-нибудь Дядей Хахалем?

Стояла перед фонтаном намного впереди Яшумова. Словно охватывала его весь. Словно хотела утащить все выплясывающие, бьющие к небу струи с собой. Как сверкающее лёгкое дерево, по меньшей мере.

Яшумов не любил салюты, фейерверки, фонтаны. Но это зрелище для знати и простых людей – его захватило.

Дома ночью он крепко любил жену. Потом жалел. Глупую милую свою простолюдинку.

2

С Плоткиным обедали во всегдашнем дешёвом кафе неподалёку от издательства. Гриша, отпиливая от шницеля вилкой, кидал куски в рот, говорил о недавно прочитанной книжке. Под названием «Почему мы пишем»:

– Автор американка, писатель и критик Мередит Маран. Она обратилась к двадцати известным американским писателям с одинаковым вопросом: «Почему вы пишете?». И, как оказалось, причины у всех, в общем-то, одинаковые. И я не буду сейчас о причинах. Меня зацепило другое. Короткий совет Джоди Пиколт (кстати, активно переводимой у нас) о писательском застое. О пресловутой прокрастинации. Цитирую по памяти: «Пишите даже тогда, когда вам не хочется. Муза тут ни при чём. Всегда можно отредактировать плохую страницу, но нельзя отредактировать пустой лист». Здорово сказано! Ничего не добавишь!

– И когда это она написала? В каком году?

– Книга переводная. Но свежая. Думаю, года два-три назад.

Яшумов усмехнулся:

– Точно так же, как эта американка, говорил ещё мой Наставник. В Литинституте. Мастер. (Яшумов назвал фамилию.) Только говорил он это нам, студентам, лет двадцать пять назад. Цитирую. Тоже по памяти: «Пишите много, пи-

шите плохо. Но пишите постоянно, не останавливаясь ни на неделю, ни на день. О вдохновении забудьте. Всегда можно извлечь что-то даже из плохой страницы. Но ничего не вытащишь из ненаписанного. Из белого листа. Запомните это, друзья».

Плоткин оживился:

– Так это говорит как раз о том, что природа творчества всегда была и есть одинакова. У всех, Глеб Владимирович!

У Яшумова сразу заболели зубы. Как и двадцать пять лет назад после слов Мастера.

– Строительный мусор на стройке просто сгребают, вывозят и бросают на свалку, Григорий Аркадьевич. Вот и всё.

– Не скажите, Глеб Владимирович. Не скажите. Из мусора порой извлекают жемчужины, самородки...

Гриша смотрел на патрона с сожалением: отстали вы, Глеб Владимирович. Безнадёжно отстали. Говоря по-русски – консерватор вы, Глеб Владимирович.

И консерватор почувствовал упрёк, нахмурился. Сказал, точно оправдываясь: «В обычной речи, Григорий Аркадьевич, в обыденной речи необразованных людей, которую мы слышим постоянно, этот мусор ещё можно как-то выдержать. Принять. Можно. Согласен. Но на бумаге когда он – извините: никогда».

На воздухе Плоткин сразу закурил. Шёл и дымил как-то плотояднейше – дым, казалось, шёл даже из ушей. Яшумов следил. Еврей, к тому же щедедушный – и курит. И в рюмку

хорошо заглядывает. Жены нет. Но куда смотрит еврейская мама?

Навстречу неуверенно шли и всё время останавливались пожилые муж и жена. Они явно заблудилась в городе. Спрашивали у прохожих, показывали бумажку.

Яшумов внимательно выслушал. Подробно объяснил всё, указал направление. И важно понёс себя дальше. Как Санкт-Петербурга раритет, по меньшей мере. Как его сокровищница. Плоткин посмеивался, дымил на раритет со всех сторон.

Над рукописью Савостина в редакции теперь сидела Лида Зиновьева. Переписывала так называемый роман. Весь. Уже месяца полтора. Очень красивая женщина с золотым руном приходила с утра, садилась и переписывала. Её даже посадили за столик в углу. Спиной ко всем. Где она, как изгой, как заключённая, корпела над бездарным текстом, стремясь сделать из него хоть что-то сносное. Плоткин (назначенный куратор Савостина) стоял теперь возле нее, положив ей руку на плечо. Как для фотографии. Как бы вдохновлял. Заряжал энергией. Или, сбив настройку, чуть не плакал. Сам Виталий Савостин ходил на цыпочках за её спиной. И иногда оставлял цветы. На её тумбочке, где похоронены были другие рукописи. Других Лидиных авторов.

И сегодня Гриша не забыл постоять с рукой на плече у мученицы. Я виноват, Глеб Владимирович! Я! Я один! Но Яшумова это словно бы уже не касалось, с улыбкой прошёл к себе.

Вечером, ужиная, всё думал о книжке, о которой говорил Плоткин. «Почему мы пишем». Жанна поела первая, сразу отвернулась и махнула пультом телевизору. (Без телевизора ведь никак нельзя.) Сегодня железобетонного Макса не было. Сегодня у Жанны был Юмор. Кривлялась семейная эстрадная пара. Надоевшая уже всем до чёртиков. Он в годах, сутулый, с головёнкой, облитой причёской на пробор. После каждой шутки делал бессмысленное дебильное лицо. Для зрителей. Фирменный свой знак. Чтобы зрители начинали смеяться и хлопать.

Жена была гораздо моложе. С широко расставленными большими глазами походила на кота Базилио. После хохмы своей – всегда пела и танцевала. Тогда и старичку приходилось тоже петь с ней и ножки вскидывать. Дружно. Как в оперетке. Куда ж тут денешься?

– Неужели нравится эта пошлость? – спросил муж.

– Нет, – коротко ответила жена. Повернула лицо: – Маме с папой нравится. Видел бы ты, как они смеются. – И снова смотрела в экран, изучая феномен.

Да-а, тут только руками развести. Яшумов поднялся, сносил посуду в мойку и с ноутбуком пошёл в спальню. К своему любимому креслу в углу. У торшера. Напротив притемнённой супружеской кровати с атласным покрывалом.

Раскрыл ноутбук. Нашёл рекомендованную книгу во Флибусте и скачал. Бесплатно. Яшумов не платил за электронные книги принципиально. Другое дело – бумажные. Впрочем,

многое нужное для работы и души брал у Ани Колесовой. У Анны Ильиничны. Тоже, можно считать, бесплатно.

Итак, скачал, открыл в своей читалке, углубился. Что называется, с карандашом в руке. Для выписок и подчёркиваний:

«...в Америке ожидают или ищут своего издателя более миллиона рукописей, а одобрен будет один процент...»

А как у нас, в России? Неужели такая же цифра?

«...Книгу невозможно закончить. Её можно только оборвать». (Оскар Уальд.)...»

«...С самого раннего детства, возможно, лет с пяти-шести, я знал, что когда вырасту, обязательно стану писателем». (Джорж Оруэлл.)...»

Из его же рассуждений оказалось, что *мотивы, заставляющие писать*, у всех пишущих, в общем-то, одинаковы. Их немного. Это *чистый эгоизм*, когда ты хочешь выглядеть умнее, чем ты есть, хочешь, чтобы о тебе говорили, помнили после смерти. Так называемый *эстетический экстаз*. Ты воспринимаешь все красоты мира, видишь всю красоту слов, их точную организацию. *Исторический импульс*. Твоё желание видеть события такими, каковы они были и есть. Ты хочешь сохранить их для потомков. Ну и *политическая цель*. Хотя твоё утверждение, что искусство должно быть вне политики, уже твоя политическая позиция.

Ну и дальше шло то же самое, те же самые причины, только поданные остальными авторами по-своему, оригинально,

как и должно быть у художников:

«...Записывать слова на бумаге – это тактика тайного голвореза, который вторгается в чужое личное пространство, навязывая читателю своё, авторское восприятие...» (Джоан Дидион.)...

«...В реальной жизни вы не вольны управлять чужими судьбами, не можете отвечать за личные отношения, вы даже не в состоянии наладить контакт с собственными детьми. Но вы начинаете писать – и на долгое время становитесь тем, кто полностью берёт ответственность на себя». (Мэг Уолитцер.)...

Яшумов прокрутил, пропуская несколько страниц:

...Исабель Альенде: «Когда я начинаю очередную книгу, то понятия не имею, куда она меня приведёт...» (Это как же, уважаемая?)

«...Если сочинение книг было бы запрещено законом, я сидел бы в тюрьме». (Дэвид Балдаччи.) Молодец, Дэвид!

«...Почему вы не пишете детективы?» Знаете, какой был его ответ? «Потому что я недостаточно умён». Дважды молодец, Дэвид!

А Дэвид всё хохмил, не унимался:

«...Вряд ли вам захочется оказаться на операционном столе под скальпелем хирурга, который говорит: «Попробую-ка я сегодня пооперировать левой рукой». Однако именно в этом суть писательства».

Молодчага Дэвид! В шутке умудрился сказать самое точ-

ное о писательстве...

Прошёл час, а может быть, и все два. Яшумов сидел уже с застывшим лицом. Плоткину понравился совет американки о застое в писательстве и как с ним бороться. И она, наверняка, написала о застое временном. Из которого можно выбраться, в конце концов. Но как быть с застоем вечным, который поразил тебя лет двадцать назад. В каком мусоре нужно копать, какие ежедневные, как попало написанные страницы в этом тебе помогут?

Жена пришла в спальню. Муж не видел её, торчал в жёлтой подсветке от ноутбука. Вроде сталагмита в Крыму. В Скельской пещере. Где была один раз. И очки ещё. Блескучие, голые.

Готовила постель ко сну:

– Глеб, тебе надо купить оправу к очкам.

– Это зачем?

– Красивше будет, – раскинула на кровати и стала поправлять свежую простыню жена.

«Красивше будет». Мистер Хиггинс с длинными волосами опять хмурился: Элизы Дулиттл для светских раутов никак не получалось. Как ни учи, ни старайся, ни просвещай.

...Летняя молодая женщина с красивыми стройными ногами шла навстречу размашистой вольной походкой. Смещаясь то вправо, то влево от прямой своей линии. От «курса». Прошла. Унесла с собой густое золотое руно с головы на плечи и спину.

Григорий Плоткин закрыл рот и побежал. Женщина уже поднималась по трём ступеням к двери издательства. Откуда он, Плоткин, только что вышел на обед.

В пустом коридоре – догнал:

– Вы автор? Пришли с рукописью?

Красивая женщина удерживала у бедра тонкую папку. Удивилась:

– Нет. Я пришла насчёт работы. Мне посоветовали обратиться в ваше издательство.

Плоткин молчком подхватил под руку и повёл. Женщина начала тянуть руку, явно вырываться.

В пустой редакции (все ушли на обед) усадил на стул. Сам сел и стал рассматривать женщину как диковину. Откровенно, с улыбкой. «Такая красавица – это же логотип для нашего издательства. Готовый логотип!» – проносилось в голове у маньяка.

– Что вы так смотрите на меня? – уже сердилась женщина. Чувствовала себя голой перед кучерявым Пушкиным.

– Я – ведущий редактор, – успокоил красавицу Плоткин и тронул её колено. Якобы дружески. Дескать, я и козёл ответственный.

Сотрудники редакции, когда вернулись с обеда – раскрыли рты: незнакомая красивая женщина смеялась и взмахивала рукой (да ладно!). А Плоткин как-то снизу, как бобик, лаял ей свои байки и анекдоты.

Яшумов проходил редакцию последним. Плоткин вскочил:

– Глеб Владимирович, подождите!

В кабинет вошли втроём.

У женщины было красивое свежее лицо. Сидела напротив. Плоткин не умолкал, тараторил. Ему не хватало только указки, чтобы показывать патрону на все её красивые части и места. Невольно думалось, что такой красавице нужно работать в Доме моделей, в рекламе для Лореаль Париж, а не в каком-то там издательстве. Что вряд ли у такой есть мозги. Но оказалось, что дама семь лет назад окончила филологический. И с отличием. Но работать стала почему-то простым корректором. (Назвала какую-то газету, о которой слыхом не слыхивали.) Получает мало. А надо растить, поднимать первоклассника сына. (Мать-одиночка, сразу отметили Яшумов и Плоткин.) «А ваше издательство солидное. Словом, мне посоветовали». Красивая женщина говорила серьёзно, что было тоже необычно. Ожидались от неё какие-нибудь ужимки, пальчики в воздухе, кокетливый смех.

Яшумов задумался. Плоткин замолчал. Женщина завязывала папку с документами, ждала.

– Хорошо, Лидия Петровна. Сделаем так. Вот вам рукопись (подал через стол), пойдите с Григорием Аркадьевичем, он выделит вам место. Ну и отредактируйте этот текст. Удаchi вам.

В первый день Лида сидела точно так же, как теперь сидит с рукописью Савостина – в углу. Повернувшись ко всем спиной. Сотрудники (даже Плоткин) ходили у неё за спиной почему-то тихо. Не смеялись, как обычно, не шутили.

Ближе к пяти она вдруг вскочила и сказала Плоткину, что ей нужно бежать домой. «Сын у меня в продлёнке. В пять его нужно забрать». Хотела взять с собой и рукопись.

– Нет, милая Лида, выносить рукописи из редакции никак нельзя. Завтра продолжите.

Женщина схватила свою тонкую папку с документами и заторопилась к выходу. Мелкой побегжкой. И совсем некрасиво. Цепляя столы и даже чуть не уронив (подхватила в последний момент) настольные часы со штурвалом, которые всегда незыблемо стояли возле редактора Потупалова. До этого момента, чёрт побери!

Все сразу окружили стол в углу.

Женщина отредактировала всего три страницы. Но как! Исправляла, подчёркивала, помечала редакторскими значками. (Откуда значки-то знает? Хотя понятно – корректор.). Да-а, отходили от столика сотрудники. Класс! И только один

Потупалов вернулся с тёмным лицом к своим часам со штурвалом.

Зиновьева работала над повестушкой в три листа шесть дней. Всю рабочую неделю! И каждый раз в полпятого вскакивала и убегала за сыном. И все опять толпились и тянули головы к оставленным страницам.

При виде Яшумова (Главного), разбрелись по своим местам. Чтобы остаться наедине с восхищением. Или с тёмным лицом. (Предпенсионер Потупалов.)

Наконец настал черёд Яшумова. Плоткин привёл Зиновьеву и с деланным безразличием положил её работу Главному на стол. Он, Плоткин, вынужден это сделать. Но он умывает руки.

Яшумов (тоже артист) снял и похукал дыханием на голые свои очки, тщательно протёр их платком, снова надел и лишь после этого углубился в текст. Сразу стал делать пометки. Ставить то ли вопросительные, то ли восклицательные знаки.

Зиновьева сидела внешне спокойно. Даже разглядывала бородатых корифеев на стенах. Плоткин играть безразличие больше не мог – метался. Бил кулачком в кулачок. Точно его протеже может-таки облажаться. И не сорвёт-таки банк!

Яшумов всё читал. Рукопись была из самотёка, недавно отвергнута. Близкая к графомании. Яшумов специально дал её филологине. С красным дипломом.

Перевернул наконец последнюю страницу и накрыл ею всё

отредактированное. Смотрел на претендентку, словно бы не веря, с некоторым изумлением. Сказал:

– Это можно теперь даже читать. Отлично сделали, Лидия Петровна, честное слово!

Мужчина и женщина придвинулись к столу, Главный поднял руку:

– Но!.. но лишней ставки редактора у нас нет. И вы, Григорий Аркадьевич, прекрасно знаете об этом. (Мол, зачем наобещали?) Могу предложить вам, Лидия Петровна, только одно: работать у нас по договору. С бухгалтером я всё уточню. Согласны?

Женщина не совсем поняла. Плоткин тут же начал объяснять. Временно, временно, Лидия Петровна. Прямо при Главном (будто исчез тот, испарился!) выдавал все секреты издательства: Камышева Лида (ваша тёзка! тёзка!) через месяц уйдёт в декретный, Потупалов вообще адью, на пенсию!

– Через полгода, – добавил Главный...

Так Зиновьева Лидия Петровна попала в издательство. Попала прямо с улицы. Без рекомендаций, без блата.

Потупалов через полгода и правда ушёл. Вместе со своими штурвальными часами. И Лиду взяли в штат.

Ещё в первые месяцы, как Зиновьева стала работать в издательстве, все твёрдо уверились: Лида может вытащить любую рукопись. Довести её до ума. Капризного ли, давно завешегося постоянного автора, талантливого ли, но не шибко грамотного дебютанта.

Но когда ей на стол положили «Войну Артура» – это был её апогей работы как редактора. Такую вершину могла взять только она. И все ходили на цыпочках. И ждали страшного: что будет с Лидой! что будет! А сам инициатор (Плоткин) стоял. С рукой на её плече. Страдал: я виноват! Я!

Телефон в большой прихожей был всегда. Сколько помнил себя Яшумов. Маленьким он подходил к журнальному столу, вставал на носочки, осторожно снимал трубку. Подносил к уху. Слушал чужие голоса, покачиваясь. Сам – немного только больше трубки. Иногда говорил: «Квартира Ясумовых». Или: «Ясумов». Мама или папа забирали трубку и сами говорили в неё. Высоко. Как будто улетали с трубкой в небо.

Глебка стал Глебой, школьником. Уже сам принимал звонки и названивал. И товарищам, и подругам. Отец с параллельным аппаратом нередко кричал из своего кабинета: «Глеб, положи наконец трубку! Я жду звонка!» Дальше Яшумов – студент. И университета, и Литинститута. Работа в издательствах. Толя Колесов, который мог болтать по телефону часами. Но пять лет назад Колесова не стало. И только Аня, жена его, по-прежнему иногда звонит со своего домашнего. Который тоже оставила только в память о муже.

Каменская не раз говорила, что от телефона нужно избавиться. «Это же полный отстой, Глеб! Зачем платить? Мобильные кругом!» Но Яшумов смотрел на кнопочный лупоглазый аппарат (а был ведь когда-то и дисковый) и, что называется, рука не поднималась. Позвонить ли на станцию там, пойти ли туда самому и отказаться, расторгнуть договор...

Междугородный зазвонил в прихожей глубокой ночью. Супруги как по команде сели в кровати. Надев одну тапку, Яшумов судорожно шарил ногой вторую. Вдел наконец ногу, пошёл.

Сдёрнул трубку, оборвал заливистые трели:

– Да!

Звонила Мария Скуредина. О которой и думать давно не думал, о которой просто забыл. Звонила из Екатеринбурга. Сразу сказала, что лежит в хосписе, что умирает. Голос женщины то приближался, становился явственным, то уходил куда-то, прятался. Яшумов нервничал – видел сбоку серый мешок ночной рубахи и даже вытянутое лицо с буквой «о».

– ...Глеба, прости, что разбудила, что так поздно звоню. Но я хочу попрощаться с тобой. Прости меня, подлую, что предала тебя, что так поступила с тобой. Прости. Вот Бог меня и наказал.

Скуредина заплакала.

У Яшумова сжалось в груди. Что-то бормотал, успокаивал, но горло сдавливало, чувствовал, что сейчас и сам заревёт.

– ...Прощай, Глеба. Ещё раз прости за всё. Не болей, пожалуйста. Живи долго, дорогой. Прощай.

– Маша, я... Я тебе... Я хотел сказать... У нас с тобой...

Рука с трубкой дрожала. Придавил короткие гудки. Рукавом пижамы вытирал глаза. Но к нему уже подступали:

– Что это было, Глеб? Кто эта Маша?

– Первая жена.

– Но ты же не был женат. У тебя в паспорте ничего нет!

– Мы не были расписаны, – ответил честный супруг.

Два дня не мог работать. Сидел в издательстве, гонял в руке карандаш. Сердобольный Плоткин уходил из кабинета на цыпочках. Уводил с собой любопытных.

Яшумов шёл из редакции на воздух. Шёл куда глаза глядят. Стоял на мосту о четырёх львах. Но никакого гудящего красного времени не чувствовал. И только морщился вместе со львами от какой-нибудь иномарки, ползущей вдоль канала и воняющей.

Вечером дома его уже не трогали, не расспрашивали. Только пододвигали еду. Как больному. В спальне сам отворачивался от жены. Смотрел в стену.

В воскресенье купил цветы и поехал на Кронверкский к родной сестре Маши – Екатерине.

Стоял перед домом под номером 27 дробь 1. Шестиэтажным. Вспоминал: на третьем или на четвёртом?

Екатерина его не узнала. А узнав, сразу заплакала. Припала к груди, к плащу. Яшумов гладил сильно постаревшую женщину, которую тоже еле узнал.

Сели к столу. Отыскивали в лицах далёкое, за двадцать лет ушедшее безвозвратно. Екатерина начала рассказывать, опять плакать.

Маша заболела полтора года назад. Пошла с давним уплотнением в левой груди. Тянула, дурочка, до последнего.

Боялась. Чувствовала, что всё уже серьёзно.

Взяли биопсию – рак. Грудь удалили. Прошла химию. Вроде бы наладилась. Стала опять работать. Но... но всё вернулось. (Екатерина заплакала.) Сейчас в хоспис уже попала. Умирает. Нужно ехать к ней, а не могу. И сердце, и трудно ходить. Тоже больная насквозь. Что делать, Глеба, что?

Яшумов гладил руку женщины, утешал: «Я поеду с тобой, Катя. Не плачь. Завтра отпрошусь на работе и сразу в агентство за билетами. И первым же рейсом вылетим».

Билеты купил на рейс в среду. На утренний. Позвонил и сказал об этом Кате. Договорились, что Яшумов заедет за ней рано утром на такси. Но вечером Катя вдруг сама позвонила. Не могла говорить, давилась слезами: «Глеб, родной... Маша умерла... Умерла, понимаешь... Не успели...»

– Кто сообщил?

– Сергей. Зять. Бывший. Дубинин. Не успели, Глеба...

Хм. «Бывший». Пародийный Иванов-Дубинин. Немало крови попортил. «Бывший»... Да что это я!

– Горе, Катя, большое горе. Крепись. Я сейчас приеду, переночую у тебя, а утром всё равно вылетим. Не плачь, Катя. Я скоро буду.

Быстро собирался, кидал в сумку пижаму, полотенце. Бритву. Зубную пасту, щётку.

Словно проводить, из Колпина приехали Анна Ивановна и Фёдор Иванович. С испугом смотрели на бегающего зятя, который собирался на похороны жены. Первой. Неизвест-

ной. А Жанка стоит, скрестила руки на груди и только ноздри раздувает. Дела-а...

...В самолёте держал руку торопливо спящей, измученной женщины.

Екатерина была старше Марии на пятнадцать лет. Всю жизнь прожила в доме на Кронверкском. Родители у сестёр умерли рано. Пришлось старшей воспитывать младшую. Сестру-оторву, по словам воспитательницы. Сама замуж так и не вышла. Хотя женихи были.

Выше лаборантки в каком-то НИИ не поднялась. Но сестру выучила. Первой была спецшкола с английским уклоном, а дальше – университет. И вот теперь осталась одна, и неко-го больше воспитывать. Яшумов невольно сжимал влажную вздрагивающую руку. Смотрел в окно на плывущие облака...

Яшумов знал Марию Скуредину ещё с университета. Где среди студентов она была просто Машка. Машка Скуреди-на. Весёлая хулиганка с живыми глазами. Учился даже с ней на одном курсе. Факультеты, правда, разные. Молоденький, Яшумов не был тогда снобом, всюду зажигал. На какой-то вечеринке даже пил с Машкой твист, опасно запрокидыва-ясь назад. Проводил потом к шестиэтажному дому на Крон-веркском. Попытался пообжиматься с Машкой, но получил сразу в ухо. Со смехом уходил к набережной, но больше к Скурединой не подваливал.

После диплома из-за плохого зрения Яшумов от армии

откосил. И даже остался работать в Питере. В одном среднем издательстве, где понравился ещё с преддипломной практики.

Сначала, понятно, – младший редактор. Даже корректор. Предварительно вычитывал рукописи. Чтобы отдать их дальше, более опытным. Через год стали доверять и ему серьёзные работы.

И вот однажды, как говорится, в коридоре: «Машка, ты?» – «Я, чувак, я». Обнялись, похлопались. Оказалось, принесла работу, перевод с испанского. И уже не первую у неё. Называла авторов, загибала пальцы. Правда – всё в других издательствах.

И хотя Яшумов ни с какого боку к переводам – сразу начал таскаться за Машкой, служить ей. Рестораны, рок-концерты, кино. Через месяц-другой всё перешло в профессорскую квартиру Яшумовых. Где отец и мать ходили возле комнаты сына (закрытой) и только вздрагивали от внезапно ударяющей долбёжной музыки.

После внушения отца сыну – громкая музыка перешла в дом на Кронверкском. И уже там родная сестра любимой ходила и хваталась за виски. В конце концов, страсть молодых немножко поубавилась, поутихла. Из-за двери стало доноситься жалобное, даже плаксивое: «Остановите музыку! Прошу вас я! Прошу вас я!»

Молодых настойчиво подвигали к свадьбе, к загсу. «Ещё чего!» – хохотнула Машка прямо в лицо профессору. Екате-

рина тоже попыталась сломить сестру, направить в нужную сторону. В сторону Дворца бракосочетания. «Пошла в яму, старая дева!» – ответила лихая Машка. Ну а верный Глебка – бобик навек, – только ластился к хозяйке, вилял хвостиком, во всем поддерживал.

Первый год так и кочевали из одной квартиры в другую. На второй – закрепились наконец у Яшумовых. С утра Глеб отправлялся на работу в издательство. Мария садилась за свои переводы.

Ну а потом появился Иванов-Дубинин. В редакции, точь-в-точь как Савостин теперь, он вальяжно сиделся перед Яшумовым и кидал ногу на ногу. Кренделем. Только был без петуха на голове, а лысым. Как яйцо.

Работая над рукописью лысого, Яшумов постоянно морщился – Дубинин обгладывал и обсасывал авторов «Юности». Особенно Василия Аксёнова. Косил под него. Но главному редактору это почему-то нравилось. Опекал Дубинина. Думал даже двинуть его роман на разные премии. И автор с Урала ходил по редакции гоголем.

В издательстве они и снюхались. Машка и Иванов-Дубинин. Глеб сам их познакомил мимоходом в коридоре.

Через неделю он увидел свою Машку в метро. Она вышла из вагона с каким-то мужчиной в вязаной чёрной шапке до глаз. Яшумов входил в вагон, а они выходили через другую дверь. Уже не сомневался, что это Иванов-Дубинин, но за чем-то тянул голову, пытался разглядеть его в побежавшей

назад толпе.

Дома трусил, ни о чём не спрашивал. Ну а через день была банальнейшая записка из дрянного бабского романа, брошенная на кровать: «Яшумов! Я ухожу от тебя. К кому – не важно. Не ищи меня. Прощай!»...

Яшумов всё смотрел на плывущую в иллюминаторе белую вату. Со стыдом вдруг вспомнил, как рыдал у Толи и Ани Колесовых. Бил себя зачем-то в грудь. С силой ударял. И те не знали, что с ним делать, как унять...

И вот виновница его тех давних страданий умерла. И жалко было её сейчас до слёз. И с Дубининым своим не нашла счастья. Как рассказала Екатерина, тоже бросила его. Сама...

...На весеннем кладбище где-то за городом покачивались голые сырые деревья. Галки подлетали над ветками, словно не могли найти себе надёжного места в них.

Маша в белой шапочке казалась малолеткой, девчонкой-подростком с румяными щёчками. Просто легла в большой гроб и сложила ручки. Для прикола. Прикалываясь перед одноклассниками: фоткайте меня скорей! Но одноклассники и одноклассницы давно стали взрослыми, стояли понуро с обнажёнными головами или в черных платках, ждали окончания церемонии. И больше почему-то было мужчин. «Неужели всем им позвонила? Перед смертью?» – нелепо проносилось у Яшумова.

Какой-то крупный дядя, казавшийся нанятым професси-

оналом, заученно говорил над покойной подобающие слова.

Фальшиво и громко заиграли трубачи, и гроб опустили в могилу. Все стали подходить и кидать землю. Яшумов держал Катю под руку. Но та вдруг сильно качнулась. Упал на сторону костыль, грузная женщина начала заваливаться. Еле устоял вместе с ней, удержал. Нагнулся, поднял, подал костыль. И крепко удерживал бедную Катю, пока она приходила в себя. А потом трудно сгибалась, чтобы взять свою горстку и кинуть...

Плачущую, уводил от могилы. Остальные уже с надетыми шапками теснились в аллее, поторапливались с кладбища. Впереди поминки. В лучшем ресторане города. Деловитый муж Маши (последний) громко внушал Екатерине точно глухой: «Обязательно останьтесь на поминки, Екатерина Петровна. Обязательно. Я вас привезу в ресторан и отвезу потом, куда скажете. Обязательно!» Яшумова деловитый муж не воспринимал никак – просто социальный работник при женщине-инвалиде. Держит под руку. Стопроцентный волонтер.

Откуда-то вынырнул Иванов-Дубинин. Прямо к Яшумову. Крепко дакнул ладонь. Точно виделись вчера. А не двадцать лет прошло. Всё такой же. В вязаной чёрной шапке. Как бандит с приподнятым чулком. После грабежа. Шёл, говорил нараспев: «Какая женщина! Ах, какая женщина!» «Мне б такую», – чуть не закончил за него Яшумов. Но Дубинин уже приставал к другим, впереди, тоже, видимо, пел

о «такой женщине»...

Улетели домой в тот же день. Вечерним.

В самолёте Яшумов опять держал руку измученной, то-ропливо спящей женщины.

В час ночи осторожно вставил ключ в замок. В замок двери собственной квартиры. Действовал как опытный вор-домушник. Начал поворачивать, но ключ не пошёл. Замок заблокировали. Изнутри. Облом, прошептал бы домушник настоящий.

Слушал удары сердца. Кнопку звонка надавил коротко.

Дверь открылась. Жанна. Разбуженная, сердитая со сна. «Не греми. Мама с папой спят». Мятый короб рубахи ушёл в темноту.

Не включая свет, раздевался. Снял обувь. Пошёл в туалет, в ванную. Туда и обратно проходил мимо комнаты няни. Теперь комнаты для гостей. Где в темноте трубил глубокий бас-профундо, перешибая напрочь нежные колоратурки сопрано. Колпинцы прописались уже постоянно. Музейный период, когда ходили по квартире с раскрытыми ртами, давно закончился.

В спальне лёг на своё место у стены. Отвернулся, руки сунул под голову. Почти сразу уснул.

Проснулся преступно поздно. В девятом часу.

В столовой уже завтракали. Незамеченным мимо невозможно было пройти. Поздоровался: «Доброе утро». Жена будто не услышала. Сидела с оттопыренным мизинчиком, удерживая чашку. Анна Ивановна и Фёдор Иванович растя-

нули «здрасьте». Мол, нарисовался – не сотрёшь.

Мылся под душем. Смывал вчерашнее. Когда в коридоре вытирал полотенцем волосы, тёща и тесть уже одевались в прихожей. Нужно было выйти, проводить.

Прощаясь, главный артист, Фёдор Иванович, говорил дочери, но голову повернул к зятю с полотенцем:

– Ну, дочка, почеломкаемся, что ли. На прощанье! – Мол, мало ли. Может, и не увидимся больше. С таким мужем-то. Будешь ли ты жива в следующий раз – неизвестно.

И он и жена *почеломкались* с дочерью. По очереди. Говоря нормальным русским языком – поцеловались с ней.

Сцена получилась фальшивой. Плохо сыгранной. Но было отчего-то стыдно перед стариками.

А они, только кивнув Яшумову, спотыкались уже о порог. Словно бы всё ещё от обиды за дочь.

На работе тоже не заладилось. Сразу вызвал Акимов. В свой царский кабинет. И опять из-за чёртова Савостина.

– Я же не занимаюсь теперь им! – восклицал Яшумов. – Работают с ним Григорий Аркадьевич и Лидия Петровна. Претензии к ним!

Оказалось, графоман прибежал вчера и жаловался, что роман его сократили на треть. На целую треть! Анатолий Трофимович! И сама Зиновьева поработала, и Плоткин руку приложил. А что будет дальше? Дескать, накажите их скорей, накажите!

И Акимов сердито гнул своё:

– Вы главный редактор. Главный! (Пока.) Вы должны контролировать ситуацию с Савостиным. Впрочем, сейчас спросим и у виновников.

Акимов снял трубку и вызвал Плоткина и Зиновьеву. Виновники тут же прибежали. Плоткин пустой, Зиновьева с рукописью в обнимку.

– Как понимать ваши сокращения у Савостина?

Плоткин на пальцах стал разъяснять. Сократили невозможные куски. Невозможные. Нечитаемые. Анатолий Трофимович! Вот пример. Выхватил рукопись у Лидии Петровны. Послушайте...

– Не надо, – сразу поднял руку директор. – Не надо... Вы скажите лучше, что мне теперь делать? Что я теперь скажу Вениамину Антоновичу (Восковому)? После всего, что он для нас сделал. Что?

Подчиненные не знали, «что он скажет». Молчали.

– Словом, идите и работайте. Дописывайте сами эти куски, сочиняйте их. Ещё что-то делайте. Но роман должен выйти в оговоренном размере. Всё!

В коридоре редакторы и Главный не поверили, что так можно разговаривать с подчинёнными. С редакторами-профессионалами. Что такое могло бы случиться в другом издательстве. Да как он смеет! Да это же крепостное право! До чего дело дошло у нас! Да мы сейчас вернёмся и скажем ему! Но всё это уже тихо, почти шёпотом. На ходу.

После Акимова приехал домой раздражённым. Переоде-

вался. Помыл руки и пошёл на кухню. В телевизоре опять кривлялась семейная пара. Плясала, дружно вскидывала ножи. Жанна сидела серьёзной.

Просто голодный Яшумов ел. Но неостывший Яшумов-редактор страдал:

– Ну зачем ты смотришь эту пошлость? Зачем? Ну что там смешного?

– Мама с папой смотрят, – опять быстро ответили ему.

– Да ты-то зачем? Раз тебе не смешно.

– Ладно. Переключу.

В телевизоре врубилось: «Как у вас расследование по расчленёнке? На Белорусском вокзале? Да вы что?! Не поехали ещё туда? Да я вас!» И дальше, как говорится, уже неразборчиво.

О боги! Отредактировать Эту Женщину никак не получалось.

Яшумов откинулся на стул. Перекосился как инсультник.

...После прилёта с похорон занудный на работу проспал. Храпел ночью как ненормальный. Почище папы. Утром пришлось ему из дому выходить с женой. Второй. Или третьей? Ни звука о похоронах. Как будто просто съездил к кому-то на дачу. Папа и мама ничего не могли сперва понять. Какая жена? Где умерла? Утром не сел с ними за стол. В ванной прятался. И сейчас идёт рядом, молчит. Где был-то? Расскажи жене! Филолог! Ну вот, уже и к метро вышли. По площади идём.

– Ладно, Жанна. Пока.

И, главное, пошёл. Пошёл от жены. От законной. Так ни слова и не сказав. Не объяснив ничего. К автобусам пошёл. На остановку. В своём пальто с куцыми фалдами. С обтянутой спиной. Похожей на сутулый барабан. В тугой барабан этот хотелось бить сейчас колотушкой. Догнать и бить! Чёрт бы тебя побрал!

В переполненном вагоне умудрилась сесть. Сидела, покачивалась. Чувствовала, что щёки горят, а ноздри раздуваются. (Мама всегда замечала это.) Какой-то хмырь склонился, стал нашёптывать. На штанге висел, выпендривался. Будто бройлер только что забитый. «Пошёл отсюда, козёл!» Вскочила, оттолкнула, пролезла дальше.

На крыльце коллектора встречал ещё один козёл. С усами.

С дымящей сигаретой. «Опаздываете, Жанна Фёдоровна». Согнул запястье с часами. Месяц назад тоже попытался. Навис. В тесном коридорчике. Ломанулась дальше так – что к стенке отлетел. И ни звука после. Как будто ничего не было. Просто столкнулись в тесном коридоре. Женщина и мужчина. Девчонки хохотали. Хотя курочек в курятнике щупает. Ох, щупает. Ту же Гулькину Таньку. Да и Ливнева из кабинета его всегда выталкивается с испугом. Подол оправляет и причёску. А ведь женат. Дети взрослые. Внуки уже есть. Интересно, филолог бегаёт на сторону или нет. Ведь полная редакция курей. Та же Зиновьева. Черноглазая красотка от Лореаль Париж. Видела один раз вблизи. Должна быть в Доме моделей. Сто процентов. Ходить по подиуму. А не над всякой писаниной корпеть. Всегда о ней с восторгом. Даже с любовью. Но как папа. Добрый папа. Хотя кто его знает?..

Девчонки сразу окружили. Только плащ сняла. «Ну как он после похорон? Кто она такая? От чего умерла?.. Да не молчи ты!»...

...Савостин Яшумова не переставал удивлять. Пришёл на этот раз в каких-то гомосексуальных штанах. Розового цвета. И тоже в обтяжку!

Однако не дал себя рассмотреть, сразу взмолился:

– Глеб Владимирович, заберите меня от этих, заберите. (Эти – это Зиновьева и Плоткин.) Вы со мной работали, критиковали, но работали. А эти... Опять подряд сокращают всё. Дописывают чего-то там. Вместо Макса, верного друга

Артура, придумали какого-то Клямкина. Тот теперь всё время забивает Артура. Не даёт ему развернуться на полную. Кто он такой, этот Клямкин? Откуда явился? Глеб Владимирович?

Яшумов полез под стол. От сдавленного смеха разрывался. Очередная хохма Плоткина! Плоткин-Клямкин. Клямкин-Плоткин. Нет, это невозможно!

– Что с вами, Глеб Владимирович? – заглядывал Савостин.

– Ничего, ничего. Вот – ручка. Упала. – Бросил ручку на стол.

Потыкал кнопки редакционного. Клямкина-Плоткина не было на месте.

– Лидия Петровна, тогда вы зайдите, пожалуйста. У меня автор. Виталий Савостин. Захватите рукопись.

Предупредил. Опасность. Заметай следы.

Ждали. Савостин морщился, дёргал ухо. Если по Станиславскому – изображал обиду.

Пришла Лида. С растрёпанной рукописью.

Вот, показал на Савостина главред. Как будто Лида видела его впервые. Рассказал, чем недоволен автор.

Зиновьева неуверенно возразила: Виталий Иванович, наверное, ошибся. Вроде бы нет пока особых изменений в рукописи.

– Да как нет! Как нет! Мне вчера сам Плоткин показал, где исправили. И там был Плоткин, то есть Клямкин. Был!

Я своими глазами видел его. Он забивал всё время Артура!
Этот Клямкин.

Зиновьева деланно рассмеялась:

– А-а. Так это отрывок совсем из другой рукописи. Другого автора. Он случайно в вашу рукопись попал, случайно. Все у вас по-прежнему живы-здоровы, Виталий Иванович. И Артур, и Макс.

Савостин молча одевался. В своё куцее пальто с фалдами. Не попрощавшись, вышел.

– Ну зачем вы так с ним, Лидия Петровна?

– Не я это, Глеб Владимирович, честное слово. Григорий Аркадьевич никак не уймётся. Вчера, пока была на обеде, наколотил две страницы и вставил в рукопись. А тут, как на грех, и сам Савостин явился. Григорий Аркадьевич сразу его за комп: «Оцените нового героя, Виталий Иванович. Клямкина». А сам исчез. Я пришла – все ходят, за животы хватаются. А бедный Савостин сидит перед экраном, ничего не может понять. Простите нас, Глеб Владимирович. Удалила я всё, удалила.

В кафе Яшумов задал тот же вопрос автору Клямкина. Зачем вы так поступили, Григорий Аркадьевич?

– Да по наитию какому-то. Дай, думаю, помогу савостинскому Артуру. Попавшему в безвыходную ситуацию. Вот и ввёл автоматчика Клямкина. Тот сразу начал крошить всех подряд. И своих, и чужих. И Артур рядом только удивлялся. Не мог вмешаться. Гора трупов, Глеб Владимирович. Целая

гора, – вполне серьёзно говорил шутник и кидал в рот вилкой капустный салат. От хохота Яшумов застучал ладошкой по столу. По пластиковому, синему.

Глава четвёртая

1

С некоторых пор заметили, что Терентий сильно похудел и облез. Остался почти без богатых своих штанов на задних лапах. Уже не встречал Яшумова голодным, не мяукал из-за двери. Почти ничего не ел. Часами плоско лежал. Или на кухне, или в коридоре. Как павший воин. С остатками рыжей шерсти на боку, испещрённой словно бы оврагами. Просто половик лежал на полу и всё.

Потом разом перестал лежать – всё время сидел. От боли поджимал облезлый живот. И тут же расслаблял его. Сжимал и отпускал, потрясываясь.

– Нужно свозить его в клинику, – сказал Яшумов жене. – В кошачью там, в собачью.

– Ещё чего! Знаешь, какие там цены? Одыбается. Кошки живучие.

– Да о чём ты говоришь, Жанна! – не узнавал жену Яшумов. – Это же твой кот. Опомнись!

Каменская нахмурилась. Уличённая в бездушии. Но всё равно не соглашалась. Так и не сказала ни да ни нет. Крестьянка чёртова!

Однако Терентий «не одыбывался». Ему становилось ху-

же и хуже. Яшумов не мог больше смотреть, как он мучается – сам повёз. В одну из ветеринарных клиник города. В интернете выбрал. Что поближе.

В вагоне метро, на коленях у Яшумова скуластая мордашка кота обречённо свисала из сумки.

Кабинет ветеринара был небольшой, весь набитый какими-то аппаратами с экранами. Тоже небольшой – смотровой стол, где орудовала губкой с антисептиком медсестра. Пожилой ветеринар в синей рубашке ждал. Уже с перчатками на руках.

Посмотрел на кота на груди у хозяина:

– Когда заболел?

Яшумов сказал, что примерно полтора месяца назад.

– Как себя ведёт? – уже забирал кота ветеринар.

Яшумов быстро рассказывал.

Ветеринар хотел уложить кота на столе, но тот сразу сел. На лапки.

– Так. Понятно.

Стал слушать кота так – сидящим. Прикладывал фонендоскоп с разных сторон. Лысина сзади у эскулапа походила на лохматый медальон. Серого цвета. Никаких своих медаппаратов не включал. Попробовал пальпировать животное. По старинке. Терентий вырвался и опять сел.

– Ну что я могу сказать. У кота опухоль. – Ветеринар сдирал перчатки. Стал мыть руки: – Запущенная. Наверняка с метастазами. – Вытирал руки и смотрел на свои мёртвые

аппараты, которые казались, наверное, ему никчёмными: – Можно, конечно, полностью обследовать его. (Вот на этих бандурах.) Даже сделать операцию. Но надо ли? Животное скоро погибнет. – Повернулся к хозяину: – Я могу только усыпить его. Если хотите.

– Нет, нет! Только не это.

– И правильно. Пусть поживёт. Животные лучше людей. Выносливей в болезни. Не капризничают. Не стонут и не плачут. – Смотрел на кота: – Купите для него простой анальгин. Толките и подмешивайте в корм. Всё будет ему полегче...

«И сколько заплатил?» – сразу спросили дома.

Неужели и правда такая бессердечная? – опять смотрел на жену Яшумов.

Опустил кота на пол, чтобы раздеться.

...Терентий всё время сидел. На одеяле. Возле своей круглой лежанки. Не мог лечь ни на живот, ни на бок. Если и пытался – тут же вскакивал и опять сидел на лапках, тяжело дыша. Передёргивался от боли. Как ударяемый током.

Спал – полусидя. Голова кота лежала, подпёртая высоким краем лежанки. Словно её положили на плаху. Подготовили для палача.

С утра немного оживал. Довольно резво направлялся к своей чашке. По-балетному переставлял задние облезлые лапы. Когда Яшумов сыпал корм, бодал даже его руку. («Ну, ну, успокойся»). Жадно ел. Но немного. И опять сидел, тя-

жело дыша и глядя в никуда от боли.

С болезнью Терентий повредился и умом. Вместо ящика возле туалета стал прудить где попало. По углам. Под столом у Яшумова в кабинете. Иногда и гадил. Яшумов терпеливо убирал.

Приезжали из Колпина отец и мать жены. Смотрели на зятя возле кота как на блаженного. Только что не хихикали. Чудит, зятёк, чудит. Ухаживает за котом. Подтирает даже за ним. Покупает ему всякие вкусняшки. Что в телевизоре показывают. И денег не жалеет. А Жанка сидит и только ноздри раздувает. Будто блаженный всё это назло ей делает.

Анна Ивановна подталкивала дочь, показывая глазами на Яшумова, который быстро тащил кота мимо них в ванную после того, как тот где-то нагадил. Мол, чего же ты? Помогла бы хоть.

– А он не хочет усыпить кота, – громко объявляла дочь. – Назло мне. Ему предлагали.

Родители словно бы пугались: тише, доча!

– А пусть слышит! – кричала в коридор отчаянная.

После ужина Фёдор Иванович пил чай и поглядывал на зятя. На зятя, который сидел с остановившимся взглядом. Примирительно говорил:

– У нас тоже был кот. Первый. Давно. (Жанка, помнишь, ты с ним играла?) Так тот, когда пришло его время, просто ушёл со двора. Сам. И сгинул где-то. Больше мы его и не видели. (Жанка, помнишь?) Ну а тут, в городу-то, куда уй-

дешь? Вот и получается... – Тесть вроде бы даже сочувствовал неразумному зятю...

...В тот поздний вечер Яшумов сидел в отцовском кабинете и правил в тетрадах свои старые наброски. Некоторые, наиболее удачные, как считал, перепечатывал в компьютер. В файлы.

Вдруг услышал стон. Из коридора. Человек как будто простонал. Ещё раз, ещё. Мучительно, протяжно.

Яшумов бросился. Кот стонал под ванной. Стонал – как человек. Громко, мучительно. Оооооуу! Оооооуу!

И разом оборвал стон.

Яшумов упал на колени, стал шарить под ванной.

Нащупал кота в самом углу. Кот лежал уже на боку.

За заднюю лапу вывез его на свет – Терентий был с крепко зажмуренными глазами. Навек унёс с собой боль.

Яшумов сидел на пятках рядом, покачивался, с рукой на голом животе кота. Где всё ещё теплилась, убегала жизнь. Тяжело было – непереносимо. Но сбоку уже лезли:

– Что? кончился, кончился? Надо убрать его отсюда. Как мы будем мыться теперь? – Женщина в рубашке дрожала. То ли от страха ли, то ли от холода.

Поднял кота, унёс в коридор. Положил возле лежанки. На его свёрнутое одеялко. Жена уже торопилась в спальню. Ша-рахалась от стен.

Выключил везде свет. Не раздеваясь, лёг на диван в гостиной. Закрыв глаза, положил запястье на пылающий лоб.

Рано утром, в плаще на одну рубашку, искал дворников. Выходя по утрам на работу, часто видел их во дворе. С мётлами и тележкой. Двое их всегда было. Сегодня – ни одного. Пропали куда-то. Ну где же вы, где?

И дворники точно слышали его зов – одновременно вывернули из-за разных углов дома. Оба в красных жилетах, махали мётлами навстречу друг другу.

Яшумов побежал. Долго втолковывал двум азиатам, чего от них хочет. Закопать нужно кота. Понимаете? Похоронить. Вон там. В углу. За деревом. Или дайте мне лопату, мне. Я сам. Понимаете?

Одинаковые, как два брата, дворники, казалось, не понимали его. Потом один сказал:

– Нит. Нельзя кошка. Кошка гореть должен. Штраф будет.

Увидел Тихомирову с шестого. Выходит из подъезда со своей Берточкой. Удерживает будто ребёнка. Бросился к ней как к спасительнице:

– Мария Николаевна, здравствуйте! (Ответила только Берточка: р-рррри!) Кот у нас умер. Нужно похоронить. Может быть, вы знаете, где, кто теперь это делает?

Старая женщина смотрела на встрёпанного мужчину в плаще чуть ли не на голое тело. И хотя знала Яшумова давно – видела сейчас перед собой натурального алкаша. Который может отобрать Берточку и пропить. Или ещё чего хуже.

Крепче прижала к себе любимицу. Сказала наконец:

– Есть специальная служба. Теперь животных в городе

кремируют, а не закапывают где попало. Был указ в прошлом году. – Р-риииии, подтвердила заросшая Берточка. Сама тоже старая. Старее поповой собаки. – Посмотрите в интернете.

– Спасибо, Мария Николаевна! Большое спасибо! – уже бежал к подъезду Яшумов...

Два молодца в защитных прорезиненных костюмах вошли в квартиру через час после звонка Яшумова. Оба в жёлтых резиновых перчатках чуть не по локоть. Респираторов на лицах, правда, не было.

– Где усопшее животное?

Яшумов повёл в коридор. Жанна высунулась из спальни. Но посмотрела и захлопнулась.

Один парень присел возле Терентия и раскрыл медицинский баул. Достал длинную сетку вроде авоськи и какой-то прибор. Ловко всунул Терентия в сетку и поднял её, прицепленную к прибору. На вытянутую руку. Терентий, сломанный, скрюченный, закачался.

– Зачем вы это делаете? – спросил Яшумов.

– Мы сжигаем по весу, – нехотя объяснял парень, глядя на колеблющуюся стрелку: – Четыре пятьсот, – сказал напарнику. И тот пометил, записал в блокноте.

Потом они всунули Терентия в крепкий мешок и застегнули длинную молнию

– Желаете заказать место в колумбарии для любимца? – спрашивал который с блокнотом и ручкой.

– Нет, – отвечал Яшумов.

– Желаете присутствовать при кремации любимца?

И ещё было несколько «желаете». И на все Яшумов отвечал «нет».

– У меня только одна просьба. Я хочу сам вынести кота. К вашей... машине.

– Это всегда пожалуйста! – осклабились парни.

Яшумов заплатил, расписался в договоре в трёх местах. Пока парни собирались и выходили из квартиры, быстро надел пальто, крикнул в пустой коридор: «Дверь закрой!» Взял мешок с Терентием на руки и пошёл из квартиры.

Автомобиль походил на компактный катафалк. Яшумов постоял с холодным Терентием на руках. И подал в сдвинутую дверь. Дверь вернулась на место. И чёрная машина медленно поехала.

Смотрел, пока она двигалась вдоль дома. Пока не скрылась за углом.

Пошёл. В другую сторону. К метро. Шёл, словно разучившись ходить, – оступаясь, ничего не видя. Сдёргивал очки, протирал платком стёкла...

...Несколько дней не разговаривали. Потом Яшумов, отходчивая душа, словно бы всё забыл. И после ужинов голова с чёрным муравейником опять лежала у него чуть ниже плеча. Смотрела своего Макса от замороженного.

Но долго ещё в ванной вдруг слышал стон кота. Мучительный, человеческий, непереносимый.

Чтобы не упасть, хватался за раковину. Закрыв глаза, покачивался.

2

Яшумов раздевался. Из гостиной доносился голос Анны Ивановны. Мать, видимо, опять учила дочь: «...На руках у неё бабкин кисель уже висит. Но попка всегда в обтяжечку. Брючонки по колено. Вот с кого надо тебе пример брать...» Дочь молчала. Словно бы привычно не слушала. Занималась своим делом.

Неделю назад, точно так же застыв со снятым ботинком, прослушал такое поучение матери: «Они ведь, мужики-то, куда смотрят сперва? – на пятую точку твою (смотри-ка, какая культурная!). Умная ты, не умная – мужик только туда. Ну и на лицо твоё, конечно. Чтоб тоже гладкое было. Без морщин. А у тебя и с попой, и с лицом – только позавидуешь. Да... Так что никуда от тебя твой дундук не дёрнется. Умная ты, дура ли набитая...»

Яшумов тогда унимал истеричный смех, выскочив на площадку. Затем вновь вошёл, громко ударил дверь.

И сегодня не без грохота двинулся в гостиную. Поздоровался. Тёща сразу поджала губы.

– Мы уже поели, – сказала жена. – Всё для тебя на кухне. На столе.

Так. Понятно. Мешаю. Пошёл, куда сказали. Сзади сразу продолжили. Но тихо. Вставив в рты сурдины.

Ел вечернюю жидкую кашку и думал примерно так: жен-

щины всегда объединяются, чтобы лучше приручить своих мужчин. *Мужиков*. Будь то мать с дочерью. Будь то просто подруги. Всегда тщательно разрабатывают стратегию, тактику, как лучше управляться с дураками. И на данный момент, и на перспективу. Один олух (старый) сидит сейчас в Колпино, беспечно пьёт с соседом пиво, другой дурак (сравнительно молодой) – здесь, в Петербурге, в своей квартире ест жидкую кашку. И ничего-то они даже не подозревают.

От смеха Яшумов начал сильно кашлять.

– Что с тобой? – высунулась жена. А за ней и тёща.

Яшумов махал рукой. Мол, ничего, ничего. Продолжайте, продолжайте. Полез из-за стола. С налитым кровью лицом.

В кабинете отца, придя в себя, продолжил размышлять.

Итак. Мать и дочь. Одна в Колпино живёт. Другая в Питере. Часто говорят по сотовым. Закрываются каждый раз в спальнях. От всегда настораживающихся ушей *своих мужиков*. Обсуждают, как сегодня управляться с двумя ослами. Отпустить ли вожжи, кнутиком ли подстегнуть. Сенцо ли подвесить им перед носами. Чтобы правильно шли, никуда не сворачивали. Всё новую стратегию разрабатывают. Новый план. А два беспечных осла слышат это всё, но пьют себе чай. Или пиво с соседом. Или жидкую кашку помешивают. Мол, пусть женщины разрабатывают – им положено.

Нет, это невозможно! От смеха Яшумов не мог никуда деться.

– Что это с ним? – прислушалась мать.

Дочь тоже повернула голову к коридору:

– Закидывает опять. После смерти кота часто стало так.

То смеётся, то вроде плачет.

– А ты, доча, знаешь, что сделай? (Доча не знала.) Приласкай его, приласкай. На время. А потом он сам от тебя отлипнет. Не будет попусту лезть. Да.

В полной темноте ночью почувствовал руку на своей груди:

– Ты не спишь?

С готовностью включился в разработанный план. Стал активно в нём участвовать.

– Тише, тише! Мама услышит!

Но мама-разработчик была в квартире далеко. Выпускала только в коридор нежные свои колоратурки...

...«Ну как продвигается ваш роман, Григорий Аркадьевич?» – поинтересовался на другой день в кафе у Плоткина.

Плоткин с удовольствием объедал куриное крылышко:

– Начинается у меня всё, Глеб Владимирович, с переписки двух писателей. Не молодых уже. По электронке. Двух тщеславных. Недооценённых. Тайных соперников. Запев даёт всегда который моложе. Закидывает живца: «Привет, Витя! Как дела?» Сам сперва жалуется на здоровье. Зубы вставлял. Целый месяц протезист издевался. Как у тебя с зубами, Витя? Напиши. О литературе, о письме за столом, за компьютером – ни слова. В ответ более старый (Витя) начинает бахвалиться. Зубы в полном порядке. Снисходительно сове-

тует: витамины ешь, на воздухе бывай, а не в рюмку заглядывай. Первый кается – Новый год был. Куда ж тут? Друзья пришли. Между делом бьёт об стол козырной картой: публикация у меня, Витя! В «Юности». Опять. Эх, если б лет тридцать назад она была. В смысле – тогда б на весь Союз прогремел. А сейчас... Дескать, не хотел даже писать об этом тебе. Витя настораживается: как же, ври давай. «Не хотел он писать». Прямо гордый теперь весь. До небес. Но молодой всё не унимается, кидает козырь второй. Этак небрежно: ещё книжка у меня вышла, Витя. В издательстве «Вече». На гонорар и не рассчитываю. Сам знаешь, как теперь всё. Насулят горы, а на деле – пшик, фига вместо денег. Витя (старый) сражён. Он на полу. В нокдауне. Но корячится, встаёт и мямлит: поздравляю. Молодец. Чтоб совсем дух не испустить, пишет: я тоже графоману помаленьку. Роман пишу. У тебя-то, мол, всё старое, давно заезженное, а моё – прямо из-под пера. В общем – писательская дружба, Глеб Владимирович. Игра в поддавки. Тщеславие, зависть, тоска. Болезнь неизлечимая. У обоих.

Главред смотрел на ведущего редактора: *хохма Плоткина* или правда что-то серьёзное начал?

Ещё неделю назад Плоткин объявил Яшумову, что начал писать. Да. Сам. (Что там чужие рукописи, Глеб Владимирович!) И писать начал после ежедневных, как попало испианных страниц. «Помните, я говорил вам о них? Американский метод?» Придумал уже самое длинное в мире название.

Яшумов с улыбкой ждал. Плоткин заговорщиком посмотрел по сторонам. И – на ухо. Но как бы большими буквами:

– Настольная памятка по редактированию книг и замужних женщин... Как, Глеб Владимирович? На вкус, на цвет? – И видя, что Главный начал отворачиваться, добавлял ему: – Я хочу забить это название в свою почту. На случай, если украдёт кто. Как вы думаете, поможет это мне в суде?

И дальше только стучал сломавшегося патрона по спине, приводил в чувство. Сам же смеялся коротко. Гы-гы. Как проказник...

И что же, на самом деле пишет, всё смотрел главред на своего ведуна. Или всё – очередная мистификация?

В редакцию вошли беспечно, весело разговаривая. Но что это! Сегодня все ждали известного писателя из Москвы, а вместо него – опять Савостин со своим петухом. Над Лидой Зиновьевой. Лезет, заглядывает, не даёт работать.

И ведь не обойти как чёрного кота. Главред и ведун хотели было повернуть назад (куда?), но пересилили себя – пошли: Яшумов тихо (деликатно даже) мимо. Плоткин – прямо к Лиде. Спасать.

Только к концу рабочего дня появился московский писатель. Худой старик лет семидесяти. И привёл его к редакторам (небывалое дело!) сам Акимов.

Все вскочили и вытянулись возле своих столов – они на боевом посту. Писатель пожимал руки, что-то говорил тонким голосом. Несколько дольше задержал руку Яшумова,

вглядываясь в его лицо, припоминая. А! Вы редактор моей книги! Правильно? Рад, рад познакомиться!

Это был писатель старшего поколения. Как говорится, последний из могикан. В молодости он прославился порнографическим романом о себе любимом. Потом лет тридцать маршировал под флагом с серпом и молотом чёрного цвета, не сдавался. Все ждали от него сейчас пламенной речи, уже взяли в кольцо, но он, на удивление, пятился, точно от футбольных фанатов. Тащил за собой Яшумова. И они скрылись в кабинете Главного. Даже бросили возмущённого Акимова-Пузыря.

Все были разочарованы. Возвращались на свои места. А ведь этот молодец с жиденькой мефистофельской бородёнкой до сих пор жучит оппонентов на всех ток-шоу, куда его приглашают. Голова его потрясывается, тонкий голос дрожит, руки не находят места, но разит он наповал.

Он вышел с Яшумовым через час. Все опять вскочили. Уж теперь-то не отвертишься! Но писатель быстро прошёл, кивая направо-налево: удачи! удачи! до свидания! И был таков.

Тогда окружили Главного. Хотя бы его:

– Что он говорил? Расскажите, расскажите, Глеб Владимирович! – наседали редакторы. И даже художник с верстальщиком. И даже Виталий Савостин. Который умудрился представиться писателю. Успел даже сказать, что он, Виталий Савостин, – тоже писатель.

Главред начал самодовольно рассказывать, как обсуждали

рукопись автора из Москвы. Разногласий почти не было. Почти со всеми поправками автор согласился. Сам сходу внёс свои. И порой существенные. И видно было сразу, дорогие друзья, что человек он образованный, начитанный.

– Да не об этом, не об этом! Глеб Владимировичи! О политике, о президенте что он говорил? О своей позиции по этому вопросу. Глеб Владимирович!

– Ну, это не ко мне, – развёл руки Главный.

В вагоне метро вспоминал, видел низко склонённую над текстом голову в очках с большими диоптриями. Старческую, но цепкую руку, решительно вычёркивающую слова и целые предложения. Да-а. Автор. С Большой Буквы.

Дома опять доносился из гостиной голосок Анны Ивановны: «А ты, доча, внушай ему, внушай. Ночная кукушка кого хочешь перекукует».

Да сколько можно! Да что они, глухие обе, что ли? Раскрыл входную дверь и снова ударил ею. В гостиной разом замолчали. Вот так-то, дорогие, лучше будет.

Спокойно раздевался.

3

...На шикарный накрытый стол «эта женщина из Мюнхена» даже не взглянула – сразу прошла к дрянному пианино в углу, с которого и пыль-то вытирать уже не хотелось.

Стояла, смотрела на ободранный ящик – натурально со слезами на глазах. Будто на подельника какого-то, которого не видела сто лет. Поворачивалась к занудному: «А, Глеб-ка?» И Глебка тоже покачивал головой, готовый плакать. Прямо сериал. Встреча через сорок лет...

Утром он позвонил, как только добрался до работы. Говорил как ненормальный:

– Жанна, тебя ждёт сюрприз! Я сейчас на такси в Пулково. Встречать женщину из Мюнхена...

Ничего не могла понять: какую «женщину из Мюнхена»? очередную жену? любовницу? Говори ясней!

– ...Не перебивай! Скорей накрывай стол. Всем, что у нас есть. С работы отпросись. Заболей! Ждёт сюрприз. Действуй!

Тоже как обезумела, в кухне давай выкладывать на доску муку, яйца, соль, сразу замешивать, мять тесто для пельменей. Раскатывать. Лепила пельмешки быстро, быстрее мамы с папой.

Прошёл час. Два. Три. Женщины из Мюнхена не было. Успела всё сготовить, шикарно накрыть в гостиной. Одна

скатерть чего стоила: белая, с жёлтыми кистями до пола. Расставила всё на ней. Обеденные приборы (три), бокалы, салаты. Оливьюшку даже успела сделать. Вода на маленьком газу для пельменей парит. А «женщины из Мюнхена» всё нет.

Наконец втащились в прихожую. Глеб с пузатым чемоданом на колёсиках, а женщина в обыкновенном сером плаще. С плоской сумкой через плечо. Ну, нужно познакомиться, наверное? Муж показывает на жену, как на витрину: моя Жанна. Познакомьтесь, пожалуйста. Женщина в светлых кудельках крепко пожимает руку: «Алёна». Скидывает плащ и сразу как дома идёт в гостиную...

И вот стоит теперь перед ящиком и только что не плачет...

Стало доходить. Приехавшая Алёна – это Алёнка. Из детства Глеба. Рассказывал однажды. Точно. Она. Вот тебе и «женщина из Мюнхена».

Сели за стол. Алёнка – как с голодного мыса – сразу стала налегать. Сперва на оливьюшку. А потом и на пельмени. Мотала в восхищении кудельками, нахваливала. Конечно, приятно было слышать. Но о чём говорили они – было понятно мало. О какой-то школе для одарённых. О педагогах её. О концертах. О каком-то Дитрихе. Они были точно одни за столом. Будто никого больше рядом не было. И это называется – культура. Иногда Яшумов всё же пояснял. На ухо: «Это она о бабушке, об Арине Михайловне». А Алёнка эта спросит что-нибудь у тебя, и тут же забудет. И только нахваливает: «Как замечательно вы готовите, Жанна! Глебка, тебе здоро-

во повезло». И опять они о своём. Хоть вставай из-за стола и уходи. Чёрт бы вас побрал! Ладно, спасало то, что нужно было утаскивать посуду и приносить новую еду. Этой ненасытной Алёнке. И куда только лезет в такую? Тощая, почти без груди, попка в джинсах проваливается. Зато руки – ручищи. Загребущие. С длинными цепкими пальцами.

– Сыграй, Алёнка, – вдруг сказал Глеб. – Давно тебя не слышал.

Женщина подошла к ящику, локтем оперлась на верхнюю крышку и одним длинным указательным пальцем начала тыкать клавиши. Неуверенно, по одной. Вроде бы знакомая мелодия заспотыкалась:

– Чижик, пыжик, где ты был?.. На Фонтанке водку пил... Выпил рюмку, выпил две – закружилось в го-ло-ве...

И это всё? И это большой музыкант? Повернулась даже к мужу: А?

Алёнка подмигнула Глебу и села на вертящийся стульчик. И началось что-то непонятное. Сначала вместе с её пальцами как бы бегали по клавишам только два чижика-пыжика. Только два пыжика хлопали рюмки. Потом к ним прибавился третий. Который хлопал рюмки в стороне. Тихо, тайно. Как алкаш. Дальше уже четыре чижика-пыжика разбегались по всей клавиатуре. Или вдруг неслись то в одну сторону, то в другую. «Браво! Браво, Алёнка!» – подстёгивал Глеб. И музыкантша вдруг пошла лупить клавиши всеми десятью своими чижиками. Да так, что ящик загудел! Это было какое-то

чудо. Просто башку сносило. Тут впору самой пуститься в пляс и начать хлопать рюмки. С её чижиками-пыжиками. Да-а. Вот так женщина из Мюнхена, вот так Алёнка.

И, главное, как ни в чём не бывало садится обратно к столу, берёт банан с раскрытыми лепестками и скусывает макушку. И говорит: «Фа диз всё так же секундит». «Сделаю, сделаю!» – целует ей руки Глеб, тоже со снесённой башкой: – Спасибо, спасибо!».

Потом она пошла в комнату для гостей, присела на кровать – старинную, с пампушками, где теперь всегда спали папа и мама, – стала гладить атласное одеяло. И заплакала, закрываясь рукавом кофты. «Здесь спала бабушка её, Арина Михайловна», – шептал Глеб и тоже шмыгал. И стало неудобно почему-то, стыдно. Хоть бы предупредил, что это была их с бабкой комната. Что-нибудь сменила бы в ней. Хотя бы на этой кровати. Одеяло, что ли. Подзор. «Прости, Алёнка, – говорил Глеб. – Твою кроватку мы давно убрали». Музыкантша только махнула рукой. И всё плакала и гладила чужое одеяло...

...В то утро как обычно Яшумов пришёл на работу в половине девятого. Редакция была ещё пустой. Только художник Гербов уже сидел, подпёр щёку, обдумывал рисунок. Два трудоголика крепко пожали друг другу руки.

У себя Яшумов прежде всего прибрался на рабочем столе. Это туда, это сюда, компьютер включить. Принтер опять не заменили! Сколько говорить компьютерщику! Точно не веря

в поломку, – включил. Принтер заскрежетал, выпустил поллиста и умолк, остановился. Безобразие!

Зазвонил телефон. Гербов забыл что-то сказать? «Да, Игорь Николаевич». Вместо Игоря ударил мгновенно узнаваемый голос: «Здравствуй, Глебка. Как жизнь твоя, дорогой, как здоровье?»

Что-то говорил в ответ, кричал. А женщина из Мюнхена уже сообщала: «Буду в Питере два дня. Встреть, пожалуйста, в Пулково. Обнимемся. Запиши номер рейса и время. Сможешь с работы уйти?» – «Смогу, смогу! Всё записал. Сейчас в аэропорт! Я так рад, Алёнка, так рад!»

До самолёта было ещё уйма времени, но сидеть в редакции не мог. Сразу позвонил, предупредил жену. Та ничего не поняла. Да ладно, ладно! Бросив всё на столе, быстро оделся. Сказал Гербову, что часа на два уйдёт. «Скажите, пожалуйста, Акимову». И выскочил на улицу.

Шофёр такси гнал, но поглядывал в зеркало на странного пассажира. Который всё время улыбался. Как дурак. Или вдруг начинал ерошить свои длинные волосы, явно вспомнив что-то смешное. И опять с блаженной улыбкой застывал. Туканутый!

Пять лет назад Алёнка прилетала с испанским оркестром. Играла 21-й концерт Моцарта и концерт Бриттена. И в первый вечер, и во второй успех был ошеломляющим. Оркестру нужно играть программу дальше, а меломаны беснуются, не отпускают Алёнку со сцены. Заставляют вновь и вновь са-

даться и играть. Во второй вечер дошло до того, что дирижёр приобнял героиню в длинном платье и повёл со сцены. Как свою подругу. Под смех и ещё более яростные аплодисменты. Да-а. И вот теперь будет играть с местным оркестром. Филармоническим. Господи, Алёнка! Ты ли это та девчонка с косичками? С тобой ли мы вместе разбивали наше старое пианино? Опять всё без ответа.

На радостях заплатил шофёру две тысячи вместо тысячи двухсот. «Сдачи не нужно!» – воскликнул. И, как оказалось, зря. Привёз таксист не туда.

В зале нового терминала сразу вытаращился на «Летающего ангела». Под потолком подвешенного под самолётные крылья с реактивными двигателями. Голый ангел явно женского пола задрал руки и как будто уже падал, летел к земле с самолётом, крича, погибая. Мало того, что безвкусица висела за пределами – скульптор-модернист изваял натуральную катастрофу. И это в аэропорту! В зале... А в каком?

Огляделся. Вдоль длинного высокого помещения стояли к стойкам пассажиры с чемоданами и без. Явно собирались улетать, а не наоборот. Господи! Да не туда же попал!

Пока метался, выходил из зала – ещё увидел двух или трёх ангелов. Уже после «катастрофы». Поникше сидящих на полу с самолётными своими крыльями. Или уже лежащих. Уткнутых прямо в пол. С крыльями распластанными.

Только в зале прилёта пришёл в себя. Ждал, неспешно прогуливался. В высоченном тоннелеобразном помещении

дикторский женский голос, казалось, тоже падал со сферы потолка. Которая олицетворяла, видимо, необъятный космос в круглых светящихся дырах.

Наконец объявили прилёт из Мюнхена. Нужно было ждать ещё минут двадцать, а то и полчаса, но встречающие сразу потянулись к нужному раскрытому выходу.

Стали появляться первые пассажиры. Алёнка в сером плаще бойко шагала с большим чемоданом на колёсиках и с плоской нотной сумкой через плечо.

Обнялись. Сквозь плащ чувствовал худую спину женщины. «Ну, ну, – успокаивали его. – Жива же, здорова».

Подхватил чемодан, повёз. Плаксивое своё лицо отворачивал. Как будто женщина его обидела.

В такси держал худую, костистую, но горячую руку, говорил не переставая. Показывал на пролетающие дома. Что-то объяснял про них туристке. Но женщина смотрела на поседевшие длинные волосы мужчины, на родной нос картошкой, и сама готова была плакать. Она хорошо помнила, что сделали для неё Яшумовы. Надежда Николаевна и Владимир Константинович. И маленький Глебка. Для неё, деревенской девчонки, в семь лет приехавшей с матерью жить в Питер.

...Глебку всё время отвлекал орган за высокой сценой. Орган казался выдвинутым углом очень высокого дощатого сарая. Интересно, где там садится музыкант, чтобы играть на этом сарае? «Не отвлекайся, – наклонялась мама. – Слушай скрипку».

Великовозрастная девчонка-скрипачка, пушистая и тонконогая, как коза, давала смычком уверенное арпеджиато. По всем четырём струнам скрипки. Пригнувшийся за роялем аккомпаниатор садил для неё аккорды.

Глебка смотрел на пять высоких окон с дневным светом, переводил взгляд на слушателей, и взрослых, и детей. Словно пересчитывал их внимательные головы. С облегчением похлопал пушистой со скрипкой, когда она закончила.

Ещё был один. Мальчишка. С большим саксофоном. Будто с громадной сосательной конфетой. С которой он раскачивался, откидывался назад и гнулся в три погибели. Похлопал и ему.

Наконец ведущая отчётного концерта школы, высокая тётя в богатом платье, опять вышла как бы с цветами на груди. Громко сказала:

– Вольфганг Амадей Моцарт. Соната для фортепиано № 16 (до мажор). Исполняет ученица первого класса Иванова Алёна. Класс доцента Пономарёвой Зои Павловны.

Мелочь вроде Глебки сразу захлопала в первых рядах. Мама и папы мелочи даже не шевельнулись. Будто каменные гости.

Алёнка появилась откуда-то из-за органа, быстро пошла к роялю. Была она в белом кружевном фартуке, коричневом платье и с большим белым бантом на голове (мама, мама постаралась!). Кивнула залу (как бы поклонилась). Села к стейнвею и сразу начала крутить колёсики с двух сторон стула с мягким сидением. Поднимать сидение выше. Накручивала, накручивала колёсики. И замерла, глядя вверх. На потолок. А может, на Бога. И заиграла.

До мажорная соната Моцарта полилась свободно, легко, весело. Правая рука набрасывала, рисовала тему, а левая изображала быстрое тремоло. В конце каждого периода части Алёнка давала глубокий аккорд обеими руками. И снова весёлая тема в правой руке, и быстрое тремоло в левой.

Глебка знал до мажорную от первой до последней ноты, Алёнка надоела с ней дома до чёртиков, но здесь в зале на стейнвее соната звучала неузнаваемо, захватывала. Да и Алёнка казалась совсем не Алёнкой, а какой-то другой девчонкой. Сидящей на самом краю сидения. С прямыми, упёртыми в педали ножками в белых гольфиках с мячиками.

После убедительного Алёнкиного аккорда, завершившего первую часть, какой-то первоклаш, видимо, дружок Алёнки, не удержался и захлопал из первого ряда. Но его сразу уняли другие первоклассники школы. Все они уже знали: между

частями хлопать нельзя. И Алёнка, словно выйдя из обиды, смогла продолжить. Заиграла Анданте кантабиле. В зал полилась светлая щемящая грусть.

После окончания этой части первоклаш в первом ряду больше не хлопал, а только сидел, склонив голову набок. Видимо, грустил или даже плакал. Мама рядом тоже достала платок и вытерла слёзы. Глебка сжал её руку.

И вот третья часть понеслась. Рондо. Быстрое. Глебке казалось, что это фрейлины и пажи парами поскакали в танце. То в одну сторону сцены грациозно скачут, то уже в другую. Здорово!

С последним аккордом Алёнки зал, как говорят всегда, взорвался аплодисментами. Первоклассники дубасили в ладошки. Глебка тоже. Мама тискала руку тётеньке рядом, педагогу Алёнки: «Спасибо, Зоя! Спасибо!» А Алёнка только резко поклонилась и пошла со сцены. И скрылась опять за органом. Но публика хлопала и хлопала. Ведущая улыбалась, ждала Алёнку. Та вышла и ещё раз поклонилась. Более глубоко. И вновь ушла. И только тогда ведущая смогла объявить следующего ученика.

Это был первый концерт, на котором Глебка из зала слушал играющую на сцене Алёнку...

– Помнишь свой первый концерт, Алёна? – спросил в такси из аэропорта. – В большом зале школы?

– Ещё бы, – улыбнулась женщина. – Ты хлопал как ненормальный. Не давал начать вторую часть.

– Да не я это был, не я! – смеялся Яшумов. – Твой перво-клаш-воздыхатель! Кстати, где он сейчас страдает?

– Он, как ты выразился, «страдает» сейчас здесь. В филармоническом. Первая флейта. Увидишь его и услышишь завтра на концерте...

...Эта Алёна из Мюнхена так и не осталась ночевать. Как Глеб ни уговаривал. Побрезговала. Или испугалась. Одно дело гладить бабкино одеяло, а другое – ночью спать под ним. Пришлось Глебу вызывать такси и везти её в гостиницу. «Жду вас на концерте, Жанна», – сказала при прощании. Обняла даже. Ощутимо, надо сказать. Сильная. И цыгане с манатками стали спускаться по лестнице. «Ещё раз спасибо», – сказала на повороте. После бабкиной комнаты грустная. В сером своём плаще, с плоской сумкой через плечо. Неприбранная, неприглядная. Муж-то хоть есть у тебя? Путешественница?

Ночью не отстала, пока не рассказал кое-что. Оказалось, что замужем. Мужа зовут Дитрих. Скрипач в оркестре. Первая скрипка. Большая квартира у них в Мюнхене. (А ведь не пригласила даже в гости!) Сама постоянно в разъездах. В поездах, в самолётах. За десять лет с концертами побывала на всех континентах. И одна, и с оркестрами. А дети, дети, есть у них? «Был ребёнок. Девочка. Умерла, года не прожив». Трагедия вообще-то. И что, больше не пытались завести? Да не спи ты! «Нет. Видимо, не пытались. Теперь работа для неё спасение». Странно. Всё у этих музыкантов не как у

людей. А вот скажи ещё... Да не спи ты, не спи! Нет, храпит уже. Пушкин теперь не поднят. Да-а. Задал задачку...

...В филармонии сидели на балконе. Глеб специально взял билеты сюда, чтобы не трусила. Как в прошлый раз. Люстры и впрямь отсюда были не опасными. Висели себе близко к балкону, сверкали. Вроде бриллиантовых пузатых каких-то мамаш. Публику внизу было видно только первого и второго ряда. Лысины блестели, всякие женские причёски. Зато открытый рояль и сидящий оркестр – как на ладони. Под аплодисменты минут три оркестранты на сцену выходили. Рассаживались. Раскрывали ноты. Вдруг, будто вспомнив, начали пилить одну ноту. И умолкли. Ждут вместе со зрителями дирижёра и солистку. И вот появились они откуда-то сбоку. Быстро идут, лавируют в стоящих как один музыкантах. Дирижёр с фалдами, как грач, Алёна в длинном синем платье с ниткой белого жемчуга. На прибранных кудельках – сверкающая диадема. У рояля, схватившись за него, низко склоняется под аплодисменты. И садится на стул, поправляя платье. Дирижёр уже над ней. Накрылся с палочкой. Отворачивается к оркестру и начинает махать...

Конечно, концерт этот Чайковского знала. Слышала не раз. Но от первых аккордов солистки мороз по коже пошёл. Они, аккорды эти, звучали как ещё один оркестр. Мощнее первого. Мощнее всей оравы на сцене. Не верилось, что это тощая Алёна вытаскивает их из рояля и они гремят под сводом. Какие там чижики-пыжики! Тут вообще был полный

улет! Правда, дальше всё вроде устаканилось. Но опять Алёна пошла давать аккорды. И опять мороз по коже. И так играли минут десять. То оркестр шпарит, то Алёна начинает бомбить. И с последним её аккордом сразу захотелось захлопать, но Глеб дал по рукам. Ладно. Понятно. Не рок-концерт. Не затопаешь, не засвистишь. Сидела, вытиралась платком.

Началась другая часть. Медленная. «Анданте», – шепнули в ухо. Но всё не могла прийти в себя после первой. С аккордами Алёны. Тем более, что какой-то лысый в бабочке и с поперечной длинной трубкой начал раскачиваться и тянуть натуральную бодягу. Как будто один на сцене. Как будто никого ему и не надо. «Флейтист, – опять шепнули. – Учился в музыкальной вместе с Алёнкой». И что? Сказал бы лучше, когда башню опять будет сносить. Однако Алёнка вступила, и непонятно как эта же самая бодяга флейтиста чудом каким-то у неё изменилась до неузнаваемости. Словно зачирикали, запели какие-то птички. Виделся лес, деревья с этими птичками, потом поле. А лысый только кланялся с трубкой, как бы извинялся, и выдувал по одной, много по две нотки. Уже ничего не мог испортить.

В третьей части оркестр дал небольшой запев, и Алёна пошла жарить русскую пляску. Весёлую, озорную. А весь оркестр будто гонялся за пляской, тоже громко отчебучивал, повторял.

Ближе к концу солистка опять начала громоздить аккорды до небес. Растопыренными своими граблями. По всей кла-

виатуре. Кидала грабли то вправо, то влево. И вместе со всем оркестром будто вышла наконец на необъятный простор. Таковой, что дух захватывало. Побыла там какое-то время с оркестром, спустилась и пошла шпарить опять, пригнувшись. Да так, что руки сливались над клавишами. И снова ударяла со всем оркестром, всё замедляя и замедляя аккорды. И воткнула последний. И оборвала, откинувшись от клавиатуры.

Зал взорвался. Сама хлопала так, что чуть не вывалилась из балкона. Себя не узнавала. Алёна кланялась. Музыканты все стояли, постукивали смычками по скрипкам. Дирижёр что-то говорил и целовал ей руки. Этими же целованными руками она показывала на лысого с бабочкой. Направляла аплодисменты на него. И тот с трубкой у груди улыбался до ушей и коротко кланялся.

Потом стала подходить к краю сцены и принимать цветы от целого строя меломанов. Складывала букеты охапками внутрь рояля. А зал всё кричал и не жалел ладоней. Но разом умолкал, когда она садилась на стул, чтобы ещё что-то сыграть...

Как Глеб договорился, ждали её возле гостиницы. Она приехала на такси одна. В плаще своём прямо на концертное платье, с неснятой диадемой. И без цветов. Поздравили. Вручили ей свои цветы. Потом пошли вместе с ней в гостиницу, в её номер.

Сидели среди раскиданных вещей её, одежды, разинутого чемодана, пили чай, вино, разговаривали. Алена сняла жем-

чуг и диадему, бросила на кровать. «Понравился Чайковский, Жанна?» – спросила. После концерта уставшая, выжатая. С поялыми руками крестом на коленях. «Очень, очень, Алёна Ивановна!» И всё. И заткнулась. И больше ничего не смогла сказать. Поднялись уходить. Провожая, обняла у двери. Одну. Глеб завтра поедет с ней в аэропорт. Шепнула: «Береги Глебку. Он хороший». Громко сказала: «С Дитрихом ждём вас в любое время. Даже если нас не будет в городе – квартира всегда ваша. Когда захотите. А в Мюнхене есть что посмотреть». Пригласила-таки! Спасибо, спасибо вам, Алёна Ивановна! Шла по коридору. Длинный коридор покачивался. То ли оттого, что вина выпила, то ли что слёзы давили. «Ну ты что, Жанна? – обнимал, заглядывал Глеб. – Успокойся. Всё же хорошо»...

Глава пятая

1

Григорий Плоткин отделил от стопки бумаги три чистых листа. Положил перед собой. Взял ручку с позолоченным пером. Которую подарила ещё на тридцатилетие мама. Начал:

...Итак. Ежедневные три страницы. Пишу, чтобы просто двигать ручкой на бумаге. Как советует американская мадам. Провожу утреннюю канализацию мозга. Уверяет, что поможет сдвинуться с места и начать писать. Попробуем, посмотрим. Верится в это мало, но нужно попытаться. Чем чёрт не шутит. Уверяет в книжке, что всем помогает такая метода. Даже балеринам лучше кружиться и дрыгать ножкой. А у пишущих – на сто процентов! Посмотрим. А пока – двигай, строчи что попало. Куда только выведет это всё. Непонятно. Но – посмотрим. Чёткой темы для романа-повести нет. Хотя хвалился Яшумову дурацким названием. Но дальше не двинулся. Пусто. Куда всё подевалось? Ни метафор, ни набросков – ничего. Перестал брать с собой блокнот и ручку. А зачем? Хожу по улицам – пустоглазый. Как будто и не писал никогда. Раньше только проснусь – сразу за блокнот и ручку рядом с подушкой. Сразу что-нибудь нацарапывал. Что сварилось за ночь. Сейчас – ничего. Писатель хренов. Теперь

всё читаю у других. Как писать. Ученик теперь. Первоклассник. А наставники с наставлениями – один другого лучше. У всех рассуждения. Безоговорочные. С гарантией. У всех самомнение – с головой. Только он (она) знает, как писать. Хотя дельные советы, конечно, есть. Созвучные моему опыту. Делятся советы на две категории – или таблицы, упражнения, или – общие рассуждения. Вот и гадай – кто прав...

Посмотрел на написанное. Маловато. Ещё надо что-нибудь написать:

...Вчера изругался с матерью в пух-прах – одна попёрлась в Пенсионный фонд. С большими своими ногами. Уточнить, видите ли, ей нужно было насчёт стажа. Не могла сказать, чтобы сводил! Сразу представил себя на её месте. Чтобы попасть в эту организацию, надо сначала взобраться на крутое крыльцо, открыть дубовую дверь – и сразу глубоко вниз, в подвал, переставляя трясущиеся ноги и хватаясь за металлический поручень. Это первое испытание для стариков и старух. То, что можешь скатиться кубарем в подвал – и никаких пенсий тебе уже не надо будет – это никого в организации не волнует. Скатился, ноги переломал и ладно. Но! но ты пока ещё цел, ноги трясутся, но ты спускаешься всё же вниз. Молодец! Ты победил лестницу. Дальше всё как положено в таких заведениях: за стеклом только две сотрудницы, к ним по два, по три пенсионера. Здесь нужно получить тебе талон. Предварительно вывернуться наизнанку, рассказать: кто ты такой. Какого чёрта тебе надо. Подаёшь документы,

объясняешь. Если ты уже маразмат – на тебя орут: «Так что вам надо? Чего вы хотите?» Градус двух бабьих голосов за стеклом резко повышается. Ты мямлишь, что не всё в документах у тебя верно записано, куда-то подевались десять лет стажа. «Когда я работал на говновозке», объясняешь ты. Тебе доказывают, что всё в документах верно – «Вы работали в Тресте очистки, а не на «говновозке». А-а, «в тресте очистки»? Так это теперь называется? Так бы и говорили. И вот ты с чем пришёл, с тем и уходишь. Свой стаж ты вроде подтвердил. Самому себе. Ты маразмат. Ты просто забыл. Теперь новая задача – выбраться из подземелья. Ты карабкаешься, как краб, по лестнице вверх. К свету. Эх, воздуха бы свежего глотнуть. На крыльце ты дышишь полной грудью. Ты жив, ты счастлив, ты ничего не добился...

– Ну зачем ты без меня попёрлась, мама? Ведь могла бы погибнуть!

– Да хватит уже об этом. Иди лучше завтракай.

Садит с двух сторон кулаками в подушку, взбадривает. Ставит фунтом на кровать. В изголовье. Аккуратистка.

Плоткину нестерпимо хотелось курить, слюна как у собаки текла. Но нельзя – просто убьёт мама. Терпеть надо. До улицы.

– Почему Лиду больше не приведёшь? С Яриком? – уже накладывает кашу.

Хм. «С Яриком». Ворочал ложку. Ложка в каше стояла. Понравилась красавица Лида матери. Ещё бы! А того не ви-

дит, что у сына не очень-то складывается с Лидой. А если серьёзно посмотреть – ни туда ни сюда у маминого задрипки кучерявого.

– Ты лучше скажи, когда с ногами пойдёшь? – опять перевёл стрелки сын. – В больницу?

Первую на сегодня поспешно раскурил во дворе. На пустой детской площадке. Сев на скамеечку возле слоника. Даже не вышел со двора на улицу. В голове сразу зашумело. Видел, видел, что на балконе стоят и смотрят. В фартуке своём. Но ничего с собой поделать не мог. Затягивался, окутывался дымом. Ну, вечером сегодня будет!

2

Лида Зиновьева торопила сына в школу. В продлёнку. (Вот тоже – название! «Продлёнка»!) «Шевелись, Ярик, шевелись! Опаздываем!»

На диване Ярик вяло надевал белую рубашку. И то ли надевал он её, то ли пытался снять. «Да дай я!» – не выдержала мать, сама начала всовывать сына в рубашку. Безвольного со сна, невыспавшегося. Какой дурак придумал начальным классам к восьми?

До школы было три квартала. Мать быстро шла, дёргала за собой сына. Ярик то бежал, то волокся. Большой рюкзак тянул назад, большой помпон на шапке болтался. «Вот только не ляг у меня сегодня в девять, только не ляг, поиграй ещё в дурацкие стрелялки!»

Показалась четырёхэтажная школа. На широкую лестницу карабкались со всех сторон мальчишки и девчонки с рюкзаками. Одеты по-весеннему, но тепло, в надувные куртки разных цветов.

Зиновьева отпустили сына. Сын впрягся в рюкзак и, как бурлак, пошёл немного бодрей. «После столовой, часа в три съешь яблоко. Оно в рюкзаке». Но сын уже не слышал, сын увидел бойкую Акулову (соседку по парте) и сразу неуклюже побежал. Со своим тяжеленным рюкзаком. Зачем сталкивает в него всё, что только можно! Да ещё этот детсадовский

помпон на шапке! Давно срезать нужно его. Ни у кого из детей нет.

Зиновьева пошла назад, домой. Чтобы самой собраться. А уж потом на метро, на работу.

...Плоткин ходил по редакции. Приблизившись к работающей Зиновьевой, склонялся: «Я буду Ярику наставником. Старшим другом. Я люблю детей, Лида». Посматривал по сторонам.

Лида как будто не слышала. Зло вычёркивала у Савости-на.

Плоткин уходил. Снова возвращался. Говорил опять в нос: «Я был записан в авиамодельный. В детстве. Угу. Я могу сделать Ярику планер».

– Отстань, – тихо говорила женщина. Но повышала голос. Для остальных редакторов: – Григорий Аркадьевич, я всё поняла!

Плоткин прикладывал руки к груди: «Ухожу, ухожу».

Через минуту возвращался: «В детстве у меня был голубь. Я его кормил...»

Да что же это такое!

Яшумов, когда пошёл на обед, в пустой редакции увидел только Плоткина и Зиновьеву. Сидят рядышком у компьютера. Всё вытаскивают рукопись чёртова Савостина.

– Григорий Аркадьевич, вы идёте в кафе?

– Нет, Глеб Владимирович. Сегодня – никак. Сами видите – зашиваемся. Попьём только чаю с бутербродами Лидии

Петровны.

На Яшумова смотрели два кротких, уставших голубя. Два голубка.

Да-а. Не позавидуешь.

Как только патрон вышел, начали быстро собираться. В плащах вымелись из редакции. Рванули в другую сторону от кафе. От его окон. Чтобы дворами выскочить к метро.

Плоткин в квартиру на третьем этаже скакал через ступеньку. Нарастопырку. Останавливался, торопил Зиновьеву. Снова скакал.

В тесной прихожей на все стороны полетела женская одежда. И верхняя и нижняя. Плоткин работал как престижитагор. За ширмой от зрителей. Вся растрёпанная, как кочерыжка, Зиновьева сердилась:

– Хватит, хватит! Прекрати это американское кино!

Но её не слушали, её уже тянули в притемнённую комнату. Занести на руках и мягко положить на диван – силёнок у любовника явно не хватило бы. Поэтому её просто повалили на диван.

У Плоткина, казалось, не было плоти, витал над любимой как ангел. Но Зиновьева всё равно отворачивала лицо. Точно от налетевшего поезда...

Полураздетые, торопливо обедали. Быстро оделись. Скатились по лестнице на улицу.

Вернувшийся в редакцию Яшумов опять увидел парочку у компьютера. Всё работают, бедные. И ведь конца этой ду-

рацкой работы не видят.

– Глеб Владимирович, – повернулся с креслом Плоткин. – У меня возник вопрос по рукописи Савостина: как вы думаете, выражения «Флаг тебе в руки» и «Пропеллер тебе в жо» – это синонимы?

Яшумов стал кашлять и пошёл как журавль, высоко задирая ноги, а Зиновьева упала грудью на стол.

3

– Савостин, ты почему не поехал на Ижорский завод? Не подготовил там всё для встречи губернатора? Ты куда смотрел? Мы все приехали, а там – забегали. Ничего не знают. Ни о каком приезде губернатора. А? Ты где был вчера?

Начальник отдела Купцов сидел тучей. Кулак на столе сжимал. Точно примерялся двинуть разгильдяя. Ещё два работника отдела тоже могли попасть под горячую руку, под кулак Купцова – Пшёнкина и Алёшин. Сидели у стола, опустив головы. Не могли смотреть на разгневанного начальника. Да и на бедного Витальку.

Савостин только что в туалете загладил петуха, мокрая голова его лоснилась. Будто схваченный за горло – выворачивался:

– Да я, да ведь мы, Роман Васильевич, это же работа пиар-отдела, не наша, мы должны, мы обязаны только быть под рукой, мы всегда с губернатором, мы с ним, всегда за ним, мы у него...

– Да ты-то где был вчера! Ты! Мой заместитель? – стукнул кулаком по столу Купцов. – Где?!. Всё по редакциям своим бегаешь? Со своими романами? Писатель хренов. Смотри, как залетел сюда, так и улетишь.

После разноса Савостин выскочил из Смольного во двор, побежал на парковку. Занырнул в свой Рендж Ровер, по-

мчался на обед.

Дома всячески изничтожал Купцова. В компьютерной стрелялке: «Вот тебе, гад! Вот тебе!» – взрывались, испарялись убегающие вражеские солдаты. Все до единого – клоны Купцова-начальника. *Узкий лоб, стальные челюсти, отвратительное мурло монстра.* Нажимал, нажимал кнопки на пульте: «Вот тебе! вот тебе, гад!»

Стало полегче.

В дверь позвонили. Пшёнкина. Быстро раздел её. Установил на диване. Заработал. *Как Артур с ярко выраженным лицом подлеца и садиста.* Откинулся на диван. Кверху лицом. *Как Артур возле дымящейся гаубицы.* Стало гораздо легче. Так-то, гад Купец.

По очереди сходили под душ и оделись. Потом обедали на кухне. Пшёнкина всё удивлялась, что Виталька так хорошо готовит. Нахваливала гуляш с подливкой, ела с аппетитом. Потом пила чай и поглядывала на фото хозяина по всем стенам кухни. Во всех видах он на них, во всяких позах. Вот он загадочно улыбается в рубашке с бабьим жабо. Вот он в гимнастёрке, мужественный как кирпич. Снова томный в своих розовых подгузниках, извилистый. Будто извиняется, что хочет в туалет. Вот он в наушниках, стреляет в тире из пистолета. Машет веслом на байдарке. И везде он – один. Нарцисс, вообще-то, Виталька. Домашняя настенная галерейка нарцисса.

– Почему ты не сказал ни мне, ни Алёшину вчера насчёт

Ижорки? Мы бы с утра стогнали, прикрыли б тебя.

Савостин ухмыльнулся. «Прикрыли» бы они. Как же! Только б высунуться самим. Не дождётесь. Давай собирайся. Пора в отдел.

Вышли к машине возле набережной. Пшёнкиной хотелось перейти дорогу, постоять у канала, пожмуриться под солнцем, подышать.

– Садись, – приказал Савостин. И как только любовница села, с места рванул вдоль набережной. Но свернул в первую арку. Поехал медленнее полутёмным длинным туннелем. В проходном дворе за туннелем живёт ещё один гад – Плоткин. Савостин промчался двором, непрерывно сигналив.

– Зачем, Виталик? Никого же во дворе нет.

Много ты, дура, понимаешь, надавал и надавал, выскочив на параллельную улицу, Савостин...

Два дня сидел в отделе. Терпел, никуда не слинивал. Всё время был на виду у Купцова. Как только тот опять покатило куда-то в ораве Губернатора – сразу помчался в издательство. И не слушал Пшёнкину, её панические слова: «Куда, Виталик? Погоришь!»

Первым дело – к Акимову:

– Так когда, наконец, Анатолий Трофимович? Я же всё сделал для вас, и ещё буду делать. Мы же договорились...

Красный Пузырь зажимал ногами руки под столом. Мялся:

– Понимаете, Виталий Иванович, это не так просто пере-

дельвать вещь. Нужно вникнуть в неё. Проникнуться ею...

– Да не надо её переделывать, Анатолий Трофимович. Не надо! Они специально курочат моего Артура, специально!

– Ну, вы это зря говорите, зря. Зиновьева честно работает. Как говорится, не покладая рук...

– Да какой «честно»! Всё время хихикает над Артуром. Вместе с этим... Плоткиным.

В общем, спокойствия Пузырь-гад не внёс.

В редакции – не лучше. Сидят у компа парочкой гусь да гагарочка и опять смеются. Увидели автора Артура – и тут же морды напустили на себя: они работают. Серьёзно работают. Э-э, кого обмануть-то захотели? Автора Артура?

– Здравствуйте. Сколько осталось страниц?

Зиновьева сразу свою красивую мордочку в сторону, а у гада Плоткина глаза забегали:

– Больше двухсот.

– Как «больше двухсот»! Неделю назад было сто пятьдесят!

– Пришлось дописывать. Уточнять. И с Артуром, и с Максом.

И ведь не улыбнётся гад, не хихикнет...

Пшёнкина на обед не помогла. Сидел потом рядом с дымящей гаубицей, подперев репу. Как Артур. Как распоследний раздолбай.

Яшумов несколько удивился приглашению Григория Аркадьевича. Тридцать пять, конечно, дата, но этично ли это будет. Всё-таки он, Яшумов, какой-никакой, а начальник именинника. Субординация же должна соблюдаться.

– Приходите, Глеб Владимирович, – просил Плоткин. – И непременно с супругой. Будет только Лида с Яриком. Ну а маму мою, Иду Львовну, вы знаете.

Действительно, познакомились однажды на набережной канала Грибоедова. Тяжело шла она, поддерживаемая сыном. Как оказалось, в поликлинику. Старая еврейка с большими отёкшими ногами. Но *с мгновенными*, как говорят, глазами. Всё разом понимающими, схватывающими на лету. В которых юморок плясал постоянно.

Плоткин ждал.

– Конечно, конечно, Григорий Аркадьевич. Обязательно будем. Напишите, пожалуйста, адрес.

И вот теперь задача. Как быть с женой. С *супругой*, как выразился именинник. Пойдёт ли она.

Рассказал вечером о приглашении.

– Пойдёшь? В субботу к пяти?

Сам после гибели Колесова ни в какие гости не ходил. Был только на юбилее Потупалова Сергея. В ресторане. Да лучше бы и не ходил туда. Под грохот музыки и пляски гостей сидел

рядом с плачущим, мотающим головой юбиляром и только утешал. А тот, успокоившись чуть, вытирал кулаком слёзы, забыв про платок: «И с тобой молодые так же поступят, Глеб. И с тобой. Выкинут как половик и ноги даже не вытрут». И жена намалёванной матрёшкой рядом с юбиляром сидела. Готова была лопнуть от злости. Вот такая картина...

– Так пойдёшь? Пригласил только с тобой. (Мол, одному и соваться даже нечего – не пустят.)

Жена думала.

– И что я там буду делать? Чумичка из Колпина? Среди вас, интеллектуалов-воображал? Ведь слова даже не скажешь.

– Ну, это ты зря так про себя, – растягивал слова муж. Мол, у тебя не всё ещё потеряно. Ещё можно что-нибудь навестать. Подучиться. Целых три дня у тебя до дня рождения. До встречи с *интеллектуалами-воображалами*.

Жена поломалась ещё и согласилась. И сразу начали спорить, что купить в подарок. Каменская хотела просто выходную рубашку. Ну, с запонками можно. И хватит твоему Плоткину. Яшумову это казалось слишком простеньким, избитым. «Ещё давай тройной одеколон купим и подарим!» Настаивал на ноутбуке. Свой у Гриши недавно сломался. «Да ты съехал! Это сколько ж надо вбухать нам! *Окстись!*» (Привет вам от дочери, Анна Ивановна!)». В общем, дело пошло.

Как оказалось, Плоткин жил всего в трёх кварталах от Яшумова. Сразу увидели нужный высокий дом в тесном про-

ходном дворе.

На третьем этаже мужа и жену встретил в дверях сам именинник. Почему-то в пиджачке со светлыми бортиками. От этого похожий на мотылька. Не хозяин даже, нет – услужливый гость.

– Проходите, проходите, пожалуйста. Рад, очень рад!

Схватил руку Каменской, поцеловал. Та от испуга руку вырвала. Впрочем, плащ снять разрешила. Стала наготове – с руками назад.

Яшумов сразу вручил имениннику ноутбук в упаковке. Плоткин обомлел: «Да зачем же, Глеб Владимирович. Ведь дорого». Яшумов успокоил его, крепко пожал руку.

Появилась мама именинника, Ида Львовна. Сразу обняла Каменскую, похлопала по спине. «Проходите, милая, проходите». Была хозяйка в объёмном белом фартуке и с перманентом на голове. Повела Каменскую в гостиную. Там знакомство продолжилось. Теперь с Зиновьевой и её Яриком. Наконец Каменская присела на диван. Вытиралась платком. Да-а, началось, как говорится, лето в деревне. А Глеб, сам Плоткин и Зиновьева уже базарили. Как будто год не виделись. Уже перебивали друг дружку, спорили. И только Ярик стоял, не знал, куда себя деть. «Иди сюда, мелкий». Усадила мальчишку рядом. Вместе теперь прорвёмся.

Яшумов смог осмотреться, только когда сели за стол. Квартира обычная, не богатая. Никаких особых люстр и бра – три матовых рожка под потолком. Книжный шкаф, наби-

тый книгами. Простой телевизор. Старый диван с обшарпанной спинкой. Даже отставшие обои в углу комнаты были видны. Ремонтами, видимо, хозяева себя не заморачивали. Но – чисто. И стол ломится. И всё подносит и подносит Ида Львовна. Да, умеет готовить пожилая женщина в богатом фартуке. Но почему-то всё русское, русской кухни. Даже рыбы-фиш по-еврейски почему-то нет.

Яшумов поднялся с рюмкой:

– Дорогой Григорий Аркадьевич. 35 лет, перефразируя известный оборот, возраст не юноши, но мужа. Вы пришли в издательство четыре года назад. И многое успели сделать за это время. Вы стали прекрасным редактором и организатором. (Хотел добавить «всего процесса производства книг», но удержался от канцеляризма.)

Яшумов с рюмкой всё говорил и говорил. Чувствовал, что затянул поздравление, что говорит избитыми фразами. И ничего с собой поделатать не мог. Это был какой-то приступ словесной графомании. Каменская дёрнула за штанину: кончай базар! пельмени стынут!

Наконец выполз на финишную прямую:

– ...Поэтому мы все, от всей души, поздравляем вас! Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни (что там ещё, какие штампы в запасе?)... – И сказал вдруг. Неожиданно: – И бросить курить! Наша вам в этом поддержка.

Все рассмеялись, захлопали, полезли чокаться с именинником. А сам зоил тоже чокнулся, тяпнул и плюхнулся на

стул.

Стали закусывать, налегать на салаты. А потом на пельмени со сметаной. Раскачивались в восхищении, хвалили гордую хозяйку.

Яшумов вновь поднялся с рюмкой:

– Дорогая Ида Львовна. Позвольте поздравить вас с рождением сына в... 1984-ом году. (Сумел сосчитать.) Замечательного сына вы воспитали, Ида Львовна. Просто замечательного. Спасибо вам, спасибо. – Хотел ещё что-то добавить, но горло перехватило. Отворачивался, боролся с лицом, проливая водку.

Ида Львовна сама подошла, обняла и похлопала. Она, видимо, любила обнимать и хлопать. И мужчин, и женщин. Зиновьева зааплодировала вместе с Яриком, плотненьким своим пудовичком. Который хорошо ел, но когда нужно, тоже хлопал в ладошки, поддерживал маму. Именинник с улыбкой сидел и только удивлялся. Как будто всё это не к нему относилось. Все эти славословия не давали ему говорить. Накатывали какими-то обязательными волнами, приливами. Вот все вроде бы сидят, слушают его, все нормальные, закусывают, едят пельмени, и вдруг как снизу кого толкнут. И вот уже поднимается с рюмкой или бокалом (Зиновьева), и пошёл (пошла) плести хвалебный псалом. Да хватит вам, черти, хватит! Дайте наконец сказать! Впрочем, сам начал давать сбои. Обрывал фразы, замолкал на середине их. Курить хотелось нестерпимо. Голодным цуциком поглядывал

на мать. Только что не трясся, как говорят, на ледяном ветру. «Ладно уж, иди», глазами показала та на балконную дверь. Сын тут же сорвался и убежал.

Яшумов сидел рядом с женой, но любовался Лидой Зиновьевой. По-отечески. С насаженным на вилку забытым пельменем. Красавица. Да ещё приделась. Модная красивая кофточка обнажила белое, умеренной полноты плечо. (Небывалая смелость для сдержанной Лидии Петровны.) Грива волос, пожалуй, слишком велика. Но как-то женщиной красиво уложена. Легкий макияж на чистом лице. Глаза и ресницы чёрные, бархатные. Повезёт Грише, если добьётся её, женится. Интересно, спят они уже или нет? Чувствовал тычки под бок. Тогда отправлял пельмень в рот. Но медленно. Вроде кота Бориса. С его секретом энергии.

Каменская всё время чувствовала на своей руке руку старухи в перманенте. «Кушайте, милая Жанна, кушайте». Каменская послушно ела, но тоже смотрела на Зиновьеву. Черноглазая красotka с голым плечом. От Лореаль Париж. Такая же, как и в первый раз, когда видела. «Ведь я этого достойна!» Один в один. Только волосы светлые, а не чёрные, как у той. А рядом козёл сидит и пялится. Не скрываясь. Сейчас заблеет. Про пельмени даже забыл. Локтем совала. Локтем! Тогда вилка с пельменями снова начинала гулять. Как не подавится гад. Наверняка на работе давно клинья подбивает. Зачем пошла?

Счастливый Плоткин вернулся за стол и продолжил ды-

мить. Теперь шутками своими, анекдотами. Все уже хорошо подвыпили. Все, кроме Каменской и Ярика, с готовностью смеялись. Ярик смотрел через стол: и чего они смеются, тётя Жанна? Лучше бы телевизор включили. Каменская понимала его, села с ним на диван. И они стали рассматривать фотки в семейном альбоме, который им дала Ида Львовна. Были заняты делом, чёрт побери, а не пустой болтовнёй.

Плоткина, впрочем, хватило ненадолго. Опять поглядывал на балкон и на маму. Не дождавшись от неё, сам деликатно пошёл. Как большим щитом, прикрывшись Яшумовым. Мол, мы вместе, мама, мы вдвоём. А та разрывалась между курякой-сыном и его красивой женщиной, которую нужно было ласково слушать. Погоди, кипела мама, гости уйдут. Ох, погоди. Пыталась вникнуть в слова милой Лиды.

С балкона Яшумов сквозь дым попытался разглядеть двор Плоткина. Сквозной, кажется, замкнутый четырьмя домами. Потом, словно забыв про двор в дыму, спросил, почему всё-таки так медленно идет переделка Савостина. Григорий Аркадьевич? Ведь вы работаете над рукописью теперь вдвоём.

Плоткин выпустил большой клуб дыма да ещё пару колец следом отправил:

– Понимаете, Глеб Владимирович, тут есть своя причина, своя, так сказать, закавыка. Если бы нужно было просто выкинуть графоманские слова и никуда не годные куски, дописать свои, нормальные – это было бы проще, и рукопись была бы давно готова. Но мы решили пойти другим путём.

Роман Савостина будет не просто переписанный редакторами роман – это будет самопародия Савостина. Будто бы написанная им самим. Но о которой он даже не подозревает. Пародия на самого себя. Понимаете, Глеб Владимирович? И делает это всё Лида.

Главред смотрел на дымящего ведуна: ой ли? Не ты ли это всё придумал? Лидия Петровна отличный редактор, но вряд ли до такого додумалась бы. Концепция уж точно твоя.

Яшумов перестал чувствовать даже табак, которым упорно окуривал его Плоткин. Однако... однако интереснейшая книжка может получиться. Если парочка сделает всё, как задумала. Книжка пойдёт, может даже иметь успех.

– А вы подумали с Лидией Петровной, что будет чувствовать сам Савостин. Каково придётся ему на встречах с читателями. Ему, гордому и несчастному. Что он будет отвечать на весёлые вопросы, как говорится, из зала.

– Да не поймёт он ничего, – смеялся Плоткин. – Поверит, что сам написал, всё примет за своё. Все графоманы такие. И будет только пыжиться да умалчивать. Глубокомысленно: «Сделал. Смог». Автографы даже научится раздавать. Глеб Владимирович! Поверьте!

– Не знаю, не знаю, – сомневался Яшумов...

Уходили из гостеприимного дома в девять вечера. Ида Львовна опять всех по очереди обняла и похлопала. Даже плотненького Ярика, который получил к тому же два кулька. Один с конфетами, другой с домашним печеньем. «Куда

ему столько, Ида Львовна!» – протестовала мать, оставляя за скобками слова «это же вредно столько сладкого!». – «Ничего, ничего, пусть ест», – разрешила старая женщина.

С шутками, даже с песней (пытались запеть главред и ведун в обнимку) высыпали на набережную. Какое-то время, словно удерживая в себе всё светлое от вечера, молчали и смотрели на журчащий вдали огонёк на воде канала. И начали прощаться. Плоткин с Лидой и Яриком пошли по набережной в левую сторону. Яшумов с женой – в правую.

...Начатый роман явно не идёт. Пришлось вернуться по утрам к пресловутым трём страницам. Написанным о чем попало и как попало. Вот сижу, вожу ручкой по бумаге. Похоже, с сочинительством у меня не очень. Таланта нет? Усидчивости? Зато на работе – балалайка. Постоянно тренькающая балалайка. Ведь всё из себя выбалтываю. Слушателям с улыбочивыми ртами. А не на бумагу. Всё нужно болтуну, чтобы ждали вокруг очередной шутки, анекдота. И принимались хохотать: Ай да задохлик кучерявый! Прямо умру сейчас от смеха! Это – женщины. Мужчины обычно трубят: Хо! Хо! Хо! Ну и хохмач! Как на тубах играют. У них всё серьёзно. Впрочем, Яшумов смеётся-заливается как мальчишка. Заходится. Размахивает руками. Кашляет. Приходится стучать по горбу. А ведь советский аристократ. Папа учёный, профессор. Музыкантша мама. Но не очень умный сынок получился. Упёртый на всю жизнь, не гибкий. Не понял даже, что дурацкое название, которое придумал – это про него, Яшумова. Вот именно так: редактор Яшумов – это «Настольная памятка по редактированию замужних женщин и книг». Не понял! Хохотал, зажмурился. Хотя «женщин замужних» – это, пожалуй, перебор, для красного словца, но в остальном всё точно. Мало того что подгоняет всё и вся в редакции под своё разумение, под своё понимание литера-

туры, так наверняка и дома так же строит, редактирует жену. Надменную Жанну. Хотя кто знает? Может быть – та его? Себе на уме дама. И явно не нашей тусовки. Не литературной. Весь вечер с Яриком просидела. Как тоскующая собака, не имеющая своих щенков. Не могут или не хотят? Вот тоже – выражение: «завести детей, завести ребенка». Прочитал у одного довольно средненького писателя насчёт этого самого «завести детей». Серьёзная женщина говорит пустышке, похожей на пуделя Артемона. По памяти пишу: «Заводят кошек, голубей, балонки всяких. Пуделей. Детей рожают, в муках рожают, уважаемая Алла Романовна». Хоть и так себе автор, а здорово сказал...

– Ну ты чего опять уселся писать, не позавтракав? Да ещё накурился. Язву хочешь заработать?

– Сейчас, мама, заканчиваю.

Вот ещё один генерал. Домашний. Здесь всё по-простому. Аристократизмом и не пахнет. Еврейка из местечка в Белоруссии. Круглая отличница в школе. После школы – в Питер. Но в институт не взяли. Поступай у себя в Белоруссии. Позволили в индустриальный техникум. Общежитие дали. После окончания – сразу на производство. Станкостроительный завод. Первые годы помощницей у мастеров, у начальника цеха. Потом пошла в гору. Сама стала цехом руководить. Крепкий производственник. Личной жизни никакой. Почти в сорок лет случился какой-то пролётный еврей. По фамилии Плоткин. Родила. Уже была комната в коммунал-

ке. Кучерявого ребёнчишку сперва в ясли. Потом в детсад. Почти никаких декретных не брала. Только цех, только производство. Сын вырос без призора, среди дворовой шпаны. Правда, заставила поступить, окончить университет. С отличием. Евреям уже можно было. Подошло время к Израилю. «Сваливать будем, мама?» – «Ещё чего! И не вздумай!»
Всю жизнь стойкая комсомолка, коммунистка, русофилка. Никаких рыб-фиш на обед. Проводили на пенсию. С большой помпой. В последний год работы получила вот эту двухкомнатную в центре. Железная Ида, так звали её в цеху рабочие. Молодец, мама...

– Да идёшь ты или нет, в конце-то концов! Мне что, второй раз разогревать?

– Иду, мама, иду.

На сегодня – точка.

Ел вчерашнее, оставшееся от дня рождения. Попил чаю. Под поощряющим взглядом матери набрал номер Лиды:

– Доброе утро, мои хорошие. Ну как вы, готовы? Тогда жду вас на входе на Кировской...

В парке на Крестовском Лидия Петровна Зиновьева смотрела на две улыбающиеся ей рожицы, взрослую и детскую, плавающие по кругу с люлькой аттракциона. Рациональная Лидия Петровна думала: как быть дальше? Слишком далеко всё заходит.

Счастливые круглые рожицы выплывали к ней с улыбками до ушей. Рожицы инопланетные. На тонких шейках.

Шли к другому аттракциону. Плоткин отставал, давился табаком. Стремился нарвать в себя побольше. Побольше за-тяжек.

Так как быть с кучерявым мужчиной? – шла с дымом и всё думала красивая, но рациональная женщина.

Увидела подсунутое под нос мороженое. Пломбир. И двое инопланетных опять улыбаются. Мол, как тебе такой сюрприз?

Так как же быть? Шла, безотчётно ела. Пломбир падал на землю. Как пена у лошади. Мужчина и мальчишка сразу останавливали и вытирали платками. С двух сторон. Не забывали потом и сами слизывать. С пломбиров своих. Опрятных.

Под шатром тряслись на двух лошадках рядом как ненормальные. Но поворачивали головы, не забывая улыбаться.

Так что же делать?..

Глава шестая

1

...После дня рождения не могла забыть мальчишку. Маленького Ярика. Его тепло. Его беззащитную коротко стриженую головку, когда рассматривали альбом. А идиоты за столом всё спорили, всё размахивали руками. Или смеялись дурацким шуткам именинника.

Когда прощались возле канала, успела даже шепнуть Ярику свой адрес. Пригласила в гости. Мол, я тут рядом. Себя не узнавала. И Ярик обещал: «Приду, тётя Жанна. Обязательно приду!» Да-а. Комок сразу к горлу подступил. Не проглотить. А дундук рядом сидит как ни в чем не бывало, тво-рог себе ест. Сможет сделать ребёнка? Или нет? Никогда не говорил, что пора бы завести ребёночка. Своего, родимого. Первый муж – ни рыба ни мясо. Одно слово – агент по страхованию. Деточкин из кино. Фамилию только и оставила. Зато Валька-афганец заделал моментально. Через месяц, как сошлись, начало рвать. Но поймала гада на измене, прямо в доме, в спальне. И стала лупить чем ни попадя. И маруську, и его самого. Скакали оба по лестнице вниз, теряли одежду. Потом боялся даже приблизиться. Прятался за углами. Так тебе и надо, гадёныш. Надолго меня запомнишь.

Когда мама узнала об аборте – чуть не убила. Натурально. Сквородкой. Еле успела обхватить, зажать, утихомирить. Отец, слава Богу, ничего не узнал. Ни про беременность, ни про аборт. А мама долго страдала, плакала, когда одни оставались. Да и самой бывало не по себе. Поняла – глупость сделала.

Были ещё два любовника после афганца. Один за другим. Но оба оказались почти алкашами, на грани. По утрам тряслись ручонками. В общем, и думать было нечего о ребёнке от них.

Когда настал черёд Яшумова, не могла понять, хочет он детей или нет. Ни звука от него об этом. А ведь уже под пятьдесят. Уже внуки должны быть. Неужели ничего не ёкнет при виде чужого ребёнка. Маленького Ярика, к примеру. Или Машеньки Звоновых. Соседей по площадке. Любит ли вообще детей – неизвестно. Даже Ярика обходил как мешающий столбик. Когда прощались. Всё лез к матери его, к Зиновьевой. Обнимал даже, гад. А мальчишки рядом будто не было.

Мама, конечно, быстро поняла новые настроения дочери, стала нашёптывать: «А ты обмани его, доча. Обмани. Прими ночью без этих самых. Без средств. И посмотрим, когда забеременеешь. Если обрадуется – честь и хвала мужику. Ну а нет – так пошёл он к чёрту! Зато будет дочка или сын. И тебе, и нам с отцом отрада. Ведь тебе сорок два, доча. Времени у тебя почти нет». Верно – сорок два. И чего думала дура

раньше, непонятно. А теперь, может быть, и не получится. У гинеколога была – когда спираль ставила. Где-то года полтора назад. Зато для мамы дело решённое. Доча сразу забеременеет. Как только козла до себя допустит. И если без «всяких средств». Сто процентов!

– Газету-то можно отложить? Когда ешь? Ложку ведь в ухо занесёшь.

Яшумов нахмурился, отложил газету. Вытер салфеткой губы. Опять косился на Эту Женщину. В последнее время жена казалась странной. Сидит, смотрит исподлобья. Как будто изучает. Как букашку какую. Под микроскопом.

– Ты что-то хочешь сказать?

– Нет. Собирайся на работу. Зиновьева с плечом ждёт. Со сдобным. Не забудь пожевать его. Как батон.

– Да чёрт побери! Да сколько можно говорить! А? Ведь деловые отношения! Начальника с подчинённой. Де-ло-вые. Понимаешь ты это или нет!

– Ага. Куда только Плоткина денете...

Нет. Это невозможно!..

В вагоне метро раскачивался с месивом тел, не мог даже схватиться за штангу. Всё время ложился на невысокую полную женщину. Накрывал её с головой. «Да отодвиньтесь вы, в конце концов!» – «Куда, уважаемая, куда?» Опять риторика без ответа. Женщина смирилась, стала дышать прямо в грудь. Нагревать. Как печка. Даже уютно как-то стало. Представил Каменскую на месте полной. Каменская бы про-

сто саданула кулаком под дых. И кончено дело. Или коленом в интимное место мужчины. Стал дергаться, смеяться. «Что с вами?» – выглянула женщина. Уже как обеспокоенная жена. «Хах-хах-хах! Извините, уважаемая».

Вместо редакции пошёл почему-то к мосту о четырёх львах. Стоял на его середине, держался за чугунную обрешётку, смотрел на бегущую рябую воду. Поверх воды, как Калатозов с Урусевским, видел крепко сбитую женщину. На ногах которой всегда любимые мужские берцы. Для мужского рукопашного боя. Которыми можно свободно пинать, лягать направо и налево. Да так, что лысый Макс отдыхает. И эта женщина теперь чего-то явно ждёт от него, Яшумова. К чему-то примеряется. Лягнуть? Чтобы улетел? Хотя по ночам по-прежнему плачет. Безвольная. Лицо мокрое от слез. Муж не отстаёт, тоже начинает кукситься. Если посмотреть со стороны – уникальная пара. Удивительный феномен...

Помимо воли, на сидящую Лиду Зиновьеву Яшумов смотрел в своём кабинете томно. Со значением. Только что не мяукал.

Зиновьева не узнавала патрона. Патрона с седым сеном и носом картошкой. Которая была сейчас утренней, лоснящейся, хорошо помытой. Хотелось спросить: что с вами, Глеб Владимирович?

Однако Яшумов был уже серьёзен. Хмурился. Всё это – домашний гипноз Каменской, чёрт побери. Внушила. Что без ума от этой красавицы. Тут не то что замаякаешь – коз-

ликом начнёшь бебебекать.

Для начала красивая женщина словно бы жаловалась Главному. Она уже заканчивала рукопись Савостина, оставалось совсем немного, но Гриша, то есть Григорий Аркадьевич, вдруг придумал новое. Начал носиться с идеей – сделать из белиберды Савостина пародию. Сделанную словно бы самими Савостиным. На самого себя. А это, согласитесь, совсем другая задача для нас, более сложная.

– Знаю, Плоткин мне недавно рассказал. Но я против этого. Неэтично это всё. Нехорошо по отношению к автору. Даже графоману. Да и не примет он ваши изменения. Не такой уж он дурак.

– Я сначала думала точно так же. Но дело в том, что почти все графоманские словечки, обороты, предложения Савостина будут сохранены. Глеб Владимирович. Почти все. Будет изменён взгляд на них. Взгляд как бы со стороны. Со стороны самого автора.

Главред уже злился:

– Лидия Петровна, Плоткину дан карт-бланш на издание Савостина. Акимовым. Карт-бланш. Чего же вы от меня-то теперь хотите? – Мол, я не у дел. Совершенно не в теме, как говорят теперь.

Зиновьева смотрела на Яшумова: но мы-то с вами знаем, кто здесь был и остался Главным. Вы разве не знаете – кто это?

Начала с другого конца. Начала внушать. Внушать, как

некоторые делали уже сегодня утром. Причём в форме риторических вопросов: что лучше, Глеб Владимирович, оставить всё, как есть, всю предыдущую правку, чтобы графоманская книжка вышла позором для издательства? Или... или всё же попытаться спасти положение, написать пародию на этот позор, и чтобы книжка пошла, была продаваема, и был читатель? Тем более, что сам автор ничего не поймёт. Так что лучше, Глеб Владимирович? Первое или второе?

Сеанс гипноза продолжался, чёрт побери. Только уже двойной, объединённый. С духом Плоткина, витающим где-то под потолком.

Всё равно не поддался:

– Я против всяких пародий, Лидия Петровна. На кого бы то ни было. Даже на графомана. Книги – это не эстрада. Не Александр Иванов. Решайте с Акимовым.

Зиновьева молча собирала листы рукописи.

– Извините.

Пошла к двери.

Обиделась она, видите ли. А того не поймёт, что подло это, подло!

Кучерявый не заставил себя ждать. Прибежал почти тут же:

– Глеб Владимирович, как же так, ведь мы договорились.

– Когда?

– Вы же почти согласились. Все перлы, от которых Савостин тащится, останутся в книжке. Все! До единого! Пусть

это будет его позор, в конце концов. Глеб Владимирович! А не наш, издательский!

– Нет. Решайте с Акимовым.

Ну уж это. Это!

– Да что же решишь с Акимовым! С безграмотным Акимовым. Глеб Владимирович! И это говорите вы – блюститель русского языка, блюститель русской литературы.

Несчастный тоже пошёл к двери. Театрально схватился за голову. Ужас. Просто ужас!

Главред остался твёрдым и... и как оплётанным. Они же загоняют меня в угол!

«Артур вдруг услышал за забором пьяные утробные голоса. Наши! – обрадовался Артур. Он дошёл».

О, Господи!

2

Во сне Яшумов видел себя внутри стеклянного параллелограмма какого-то банка или даже финансовой корпорации, куда пришёл взять большой кредит. Он ходил среди сидящих сотрудников и настойчиво показывал свои документы. «Я Яшумов. Редактор Яшумов. Не Савостин. Понимаете? Вот здесь написано. Не Савостин я, а Яшустин. Я пришёл к вам получить большой кредит доверия. Ему не положен кредит, а мне вы обязаны дать».

Потом он пропал куда-то из здания. Тогда быстро нанял вертолёт и стал кружить вокруг всё того же небоскрёба. Показывал лётчику, куда подлетать. К какому параллелограмму, где только что был. Увидел себя! Крохотную букашку. Но это был он, он, Яшустин! И длинные волосы, и нос картошкой. Рулите, рулите туда скорей! Но в наушниках вдруг стал звучать чей-то грубый голос: «да проснись ты, проснись!»

Проснулся. Пошамкал пересохшим ртом. Жанна толкает. Извинился: «Опять, наверное, храпел». «Опять». «Наверное». «Да с тобой спать рядом невозможно! Когда есть на ночь перестанешь?»

Утром завтракали на кухне. Недовольные друг другом. Яшумов ждал внутри себя Савостина. И дождался: «Макс, как игла в стоге сена, шёл против течения. «Где мои деньги, урод!»»

– Что с тобой?

Это уже точно клиника. Нужно идти к психиатру.

«Артур любил Регину по-военному, по-русски. Лёжа, молча и совсем недолго. Некогда было».

Яшумов боролся с лицом, с приступами смеха.

– Да что с тобой! Опять, что ли, закидоны пошли? – брезгливо смотрела жена.

«Макс не жадным был. Даже стеснительным. Но навалил в углу у себя целую кучу и каждый день туда подкладывал». Господи-и!

Смеялся Яшумов над цитатами из Савостина как всегда – как будто плакал. Каменская поспешно включила телевизор. Чтобы отвлечь. Точно ребёнка.

Поправил очки, послушно взгляделся. Шла реклама всего лишь кошачьего корма. Никаких пиналок. Глупые глаза котёнка походили на очень прозрачные серые леденцы. Следили за капаящими из крана каплями. Глупый, непонимающий. Побежал к своей миске. И давай есть корм. Награда от хозяев как будто любознательному.

Наверное, глупее, чем кошка, животного нет. Этот юный хоть старался что-то понять. Мордочкой под каплями походил на сердитого старичка, которого обманывают.

Сразу вспомнился бедняга Терентий. Тоже смурной был, непредсказуемый. Куда побежит в следующий момент – никто не знал. Даже он сам.

Заскребло душу. Смотрел на жену.

Но у той после котёнка на экране никаких ассоциаций не возникло. Беднягу Терентия просто забыла. Самодовольная, неторопливая, спокойно насыщалась.

Помявшись, сказал:

– Схожу сегодня к Колесовой. Книги нужно отнести.

Жена сразу взвилась:

– Ну конечно! А то что продукты давно надо закупать – это пусть жена одна закупает.

– Хорошо, хорошо. Сходим. С книгами потом пойду.

Ещё с начала жизни вместе все деньги, какие получали на работах, предложил класть в коробку в серванте. В общую. Как это делали мама и папа. Очень удобно, Жанна! Сколько нужно, столько и возьмёшь потом. Ну а что-то серьёзное будем покупать – вместе обсудим, решим. Каменская сперва насторожилась. Но быстро смекнула, что значит для неё эта «общая коробка». Ведь можно и себя не обидеть. Муженёк попался не жадный, деньги считать не умеет, в коробке вряд ли будет пересчитывать. Да и самому – на обед там, на метро. Иногда нужную книжку купить. В общем, мама, зря мы с тобой беспокоились. С отъявленной бухгалтершей блаженный тягаться не сможет.

В супермаркете накупила всего под завязку. И круп, и овощей, и мяса, и масла, постного и сливочного, и фруктов. И консервов. Набила два больших пакета и вместительный рюкзак Глеба. Перед этим на кассе долго вынимала всё из двух корзин на ленту. Муженёк метался у конца ленты, за-

талкивал оплаченное в пакеты. Когда подкинул на себе рюкзак, чуть не упал. Сама из супермаркета вынесла только тортик в прозрачной круглой коробке.

На лестнице отставал, пыхтел. В квартиру заводила как навьюченного осла – в зубах только у осла ничего не было. Старуха Тихомирова с Берточкой одобрительно покивала вслед. Так их и надо дрессировать, мерзавцев! (Кого их? берточек? яшумовых?)

Однако едва вошли – сразу побросал всё на пол, схватил свои книги и был таков! А разбирать пакеты кто? Пушкин? Какой там! Чуть не сшиб Тихомирову, покатился по лестнице. Даже Берточка не успела рикнуть вслед своё «рр-и-и!».

Свободный, бодро шёл по набережной канала. Поглядывал на встречных людей и вспыхивающее на воде солнце.

Снизу приближался прогулочный катер. Тоже тащил с собой солнце.

На верхней палубе сидели безвольные туристы в шляпках. Экскурсовод активно махала им руками. Как хормейстер, пытающийся оживить хор. Чтобы запели наконец. Но хор молчал. Так и плыл мимо. Уставший, пресытившийся, безвольный. Яшумов не удержался, помахал: привет, объевшиеся зрелищ! Туристы, как один, повернули головы, а хормейстершу парализовало. Так с забытой простёртой рукой и проплыла мимо.

Выдвинулся к перекрёстку Дом Зингера с куполом, на макушке которого сильные три валькирии неутомимо удержи-

вали блестящий земной шар из стекла.

Прежде чем открыть входную дверь, причёсал растрёпанные волосы. Одной рукой. Подул на расчёску, вложил в нагрудный карман рубахи с коротким рукавом. Поправил книги под мышкой. Вошёл.

Как всегда встретила помощница Ани, Мария. Но лицо её было почему-то серьёзным, озабоченным:

– Сегодня Анны Ильиничны не будет, Глеб Владимирович. Вы, наверное, знаете, пять лет назад у неё погиб муж. Сегодня как раз эта скорбная дата. Анна Ильинична сейчас дома. С детьми, с внуками.

Яшумов оставил книги и пошёл на выход. Точно, сегодня. Ровно пять лет назад. Забыл! Преступно забыл!

Минут через сорок был на Петроградской стороне, в Колиной квартире на пятом этаже.

Сидел за столом среди Колиного семейства. Соответствуя ритуалу, два сына Коли хмурились перед налитыми рюмками. Их жёны изредка вставали и скользили. С тарелками, с едой. Три внука и внучка уже баловались за столом. Стукали друг дружку. Смеялись. Вдова с чёрной повязкой на голове унимала их, тоже смеялась.

– Глебушка, поешь моего холодца. Помнишь, Коля любил его. Тарелками ел.

Пробыл среди скорбящего и балующегося семейства несколько часов.

– Спасибо, что пришёл, Глебушка, – обняла на прощанье

Аня. – Что не забыл.

Глебушка гладил плечи женщины. Глебушке было тоскливо, стыдно. Если бы не пошёл с книгами, если бы не Мария – не обнимал бы сейчас вдову бедного Коли, не утешал.

Поздно вечером опять стоял у канала, смотрел на просвеченную дрожащую на воде луну.

Снизу на арендованном судне приближалась свадьба. Вся в гирляндах огней. Шумная, многолюдная. На верхней палубе гремела музыка. Невеста в длинном пышном подвенечном платье, в точности как в рекламе Вольтарена, замедленно сгибалась в твисте, вяло двигала руками. Однако жених и не думал хвататься за поясницу, жених ложился перед ней почти на пол, дрыгал ногами и точно наизнанку выворачивался. Все хлопали вокруг, вдохновляли.

– Где книги? – спросили дома.

Артур ничего не ответил. Молча ушёл в ванную. Оставил жену и тещу с круглыми дуплами. С одинаковыми.

3

После извлечения спирали мать повезла дочь домой, в Колпино. Точно после сложнейшей операции. После которой требовалась длительная реабилитация. Сказать по-русски, одыбаться надо доче, одыбаться.

– Ничего, доча, ничего, твой козёл перебьется без жены. А ты отдохнёшь в родном доме.

Но в «родном доме» ждало неожиданное – Фёдор Иванович сидел на стуле с вытянутыми, короткими руками. Практически висел. Даже не принял из рук жены и дочери привезённые продукты.

– Нати вам из-под кровати! – воскликнула Анна Ивановна. – Полюбуйтесь на него! Руки прижал. Космонавт висит. Космонавт с похмелья. Оставила одного только на сутки.

Обе смотрели. Не поддавался старый дурак в Колпино дрессировке. Так же, как и молодой в Питере. Как ни старайся, ни учи их, ни направляй.

– Ты где деньги взял? – уже наседала Анна Ивановна. – Опять у Колупаевых занял? Так я зенки-то Глашке повыцарапаю. Так и передай ей. И тебе, и тебе, старому дураку! – мазнула виноватого по макушке.

Фёдор Иванович терпел. Висел, не шевелился. Всё так же с куцыми руками на туловище. Беззащитный, покорный.

Дочь пожалела отца, втихаря сунула двухсотку. На пиво.

Космонавт тут же из кухни исчез. Жена сделала вид, что ничего не заметила. Выкладывала продукты.

Обедали. Потом женщины пили чай, а мужчина, совсем осмелев, глотал пиво. Бутылочное.

– Курей кормил? – спросила жена.

– Кормил, – ответил муж и отсосал из бутылки.

– Индюшек, индюшат?

– Угу, – отклячил губу муж на манер фаготиста.

– А борова? А Гришку?.. Забыл! Точно забыл!

Муж побледнел. Сунул бутылку в карман и побежал во двор.

При приближении хозяина к деревянному хлевушку Гришка начал внутри бить чечётку. Копытцами. Хозяин бежал возле хлевушка, готовил бурду. И Гришка каждый раз колотил. Сопровождал его как бы барабаном.

Припал наконец к корыту.

Хозяин смотрел. Закипала слеза. Жгуче чувствовал родство. Тоже, бедный, как с похмелья. Эх, все мы гришки. Слезы жгли. Всё мы, можно сказать, братья.

– Ну, чего стал. На вот, брось ему очистки.

Фёдор Иванович брал из чашки картофельные очистки и бросал:

– Ешь, Гришанька, ешь.

– Э-э, – смотрела на мужа жена. – Ноздри даже вывернуло пятаком. Как у Гришки твоего. У кореша.

Гришка молотил, но не забывал скидывать пятак и хрю-

кать хозяину. В поддержку.

– Ешь, Гришанька, ешь, – всё давился пьяной слезой Фёдор Иванович. Вдруг рухнул на колени. Обнял животное: – Все мы братья, Гришанька, все. Никому мы не нужны. Ы-ых!

Анна Ивановна уже звала:

– Доча, сюда! Совсем сбрендил отец. С Гришкой обнимается!

Прибежала дочь. Вдвоём подняли Фёдора Ивановича с колен, повели.

– Вот, пожалуйста! – говорила Анна Ивановна мотающейся голове. – Как говорится, с утра выпил – весь день свободный. Вот, пожалуйста! Полюбуйтесь.

Дочь жалела отца: зря ты, мама. Редко это у него. Правда ведь, папа?

– Ыы-xxx!..

...Яшумов набрал номер жены. Сегодня первый день её отпуска. Но ещё утром за завтраком дочь и мать вели себя странно. Обе надулись и не смотрели на него. Любимого мужа и не менее любимого зятя. Явно чего-то ждали. Только чего? Крепкого удара по столу кулаком или, на худой конец, сальто-мортале назад. Вместе со стулом.

Набрал ещё раз. Всё так же – «абонент временно недоступен». Странно.

И так было полдня. Жена не отвечала. Что-то случилось. Не понимал Плоткина да и Лиду Зиновьеву с рукописями. В обед повезло – Акимов отправился на поклон к Яровому.

Сразу и сам стал собираться. Дал указания редакторам («Ну, вы тут. Сами понимаете») и помчался домой. И в метро, и на улице ещё набирал номер жены. Как отрезало!

Дома встретила тишина. В гостиной дымился столб солнца. На кровати в спальне была разбросана одежда. Один чемодан был раскрыт, второй – исчез. Да что же это такое! Где-то был записан телефон родителей Жанны. Нашёл листок с затёршейся абракадаброй. Набрал: «Анна Ивановна? Здравствуйте!» – «Вы ошиблись номером». И опять гудки.

Через полчаса был на Московском вокзале. Почти сразу поехал в Колпино.

Когда шёл к дому на Ижорской улице, зазудело в нагрудном кармане. «Да», ответил.

– Ты уже дома? А я в Колпино. У мамы с папой...

От возмущения не находил слов. Сбросил звонок! Опять зазудело: «Что у тебя с телефоном? Ты сам в порядке?»

Хотелось сказать бездушной недалёкой крестьянке, что так порядочные женщины не поступают. Не говоря уже о жёнах. Вместо этого сказал:

– Да, я в полном порядке.

Сказал, как обманутый, всё разом потерявший, уже безразличный ко всему американский герой в конце фильма. И отключил телефон. Пошёл назад на станцию.

Сидел в вокзальчике, ждал обратную электричку. Рядом с мальцом лет пяти и его матерью. В телевизоре под потолком показывали какой-то военный парад. То ли в Индии, то ли

в Пакистане. Военные в чалмах, с маршальскими погонами (по меньшей мере!) проходили маршем, размахивая прямыми руками вперёд, как вёслами. Малыш в бейсболке слизывал мороженое, смотрел. Дал своё заключение: «Оборотни в погонах». И добавил: «Идут». Все рядом начали смеяться. Мать задёргала мальчишку: «Кто тебя научил? Кто?»

Да никто, подумал Яшумов и погладил малыша. Из телесериалов запомнил маленький в бейсболке. Дитя своего времени. Как говорится, с младых ногтей. С молоком матери.

Малыш чем-то походил на Ярика Лиды Зиновьевой. А вот чем? Глаза, глаза такие же. Две чёрные большие черешни в белых блюдцах!

Наклонился:

– Как тебя зовут, маленький?

– Юра, – смело представился малый. И слизнул с мороженого.

Смотрите-ка, Юра! – радовался, делился со всеми своим открытием Яшумов.

Жанна вернулась из Колпина неузнаваемой. Томной и какой-то загадочной. Как Шахерезада. Но русская, крупная. Шахерезада Степановна.

Сразу села ему на колени и обняла за шею. «Что такое!» – запрокинулся муж, не видя белого света. Но ночью – работал. На полную.

Медовый месяц начался. Второй. Правда, длился недолго. Всего лишь неделю. Жена словно что-то срочно навёрстывала, открыв в себе женское.

Потом всё резко изменилось – его стали отталкивать. И по ночам, и днём.

В первый раз она побледнела и побежала в туалет прямо из-за стола. Яшумов, слушая утробную рвоту, начал понимать. Неужели? Не верилось. И радовался, и холодел, пугался. Как же так случилось? В таком возрасте.

Она сказала ему. Да, беременна. Сказала отвернувшись, зло. Точно готова была его убить. Изничтожить. И радость его как-то смазалась. Тревога только осталась, озабоченность.

Её стало тошнить постоянно. И, казалось, не от какой-то там еды, а от него, Яшумова. Стоило ему спросить: «Ну как ты? Не скучала?». Она тут же срывалась, бежала в туалет и падала там к унитазу.

«Ты не спишь, милая?» – спрашивал он ночью в спальне и клал руку ей на плечо. Или на грудь. Просто так. Но она сразу садилась на край кровати. Словно узнать: спит она или нет? И опять бежала. К своему унитазу. Как к врачу, по меньшей мере, как к санитару.

Удивляло это. Ведь не бледная немочь какая-нибудь, а крепкая женщина (*крепкая баба!* в конце концов), которой бы только рожать и рожать. Правда, возраст её. «Может быть, тебе валерьяны попить? Успокоиться?» – робко спрашивал он. «Ы-ааа!» – был ответ из туалета.

Приезжали, выходили из закулисья тёща и тесть. Фёдор Иванович зятя сразу зауважал. Молодец, афганец! Сумел, заделал! Но Анну Ивановну, как мать, раздирало противоречие. Когда дочь убежала в туалет, смотрела на Яшумова волчицей. Нашёптывала потом *бедной дочке*: «Не допускай его до себя, не допускай. Ещё повредит чего-нибудь там». Когда дочь приходила в себя после тошноты и могла что-нибудь есть, смотрела на хлопчущего зятя уже с умилением. «Любит Жанку, негодник. Хочет ребёночка». Толкала под бок «свово», и громко говорила: «Ну, чего сидишь! Сгоняй в магазин. За фруктами. Видишь, доча ест уже апельсины». Так ить, это самое, делал движение пальцами супруг, означающее «мани-мани нету». Яшумов тут же давал деньги. «И вообще, Анна Ивановна, деньги вот в этой коробке. Берите, сколько нужно». Фёдор Иванович и Анна Ивановна сразу поджимали губы. Как кошка и кот, учуявшие сало.

Однако доча хоть и была в очередном отпуску, но из-за тошноты в магазины уже не ходила, ничего не готовила. Не могла. Стало быть, брать из коробки можно.

– Куда, куда полез? – била мужа по рукам Анна Ивановна. – Я тебе полезу, старый хрыч! – Как будто тот лез не за деньгами, а по меньшей мере к ней под подол. Охальник.

Новость о том, что Яшумов с «молодой женой» ждут ребёнка, распространилась в редакции быстро. Плоткин Григорий Аркадьевич раззвонил. Узнав её из уст самого счастливецца. «Только это между нами, Григорий Аркадьевич. Ни к чему, чтобы об этом все знали». – «Конечно, конечно, Глеб Владимирович. Могила!».

Женщины редакторы на Главного стали посматривать со значением и даже с восторгом: Орёл! Мужчины – с немалым удивлением. Словно тот был всем известным импотентом. Лида Зиновьева почему-то опускала глаза, точно в чём-то провинилась. А сам звонок Плоткин вообще растерялся. Если уж такие старые пни, как Яшумов, могут делать детей – ему-то тогда куда? «Лида, как мы теперь? Ведь Ярику братик нужен. А?»

– Я вас поняла, – кричала к потолку Зиновьева. – Всё сделаю!

Что, Лида, что сделаешь?

– Отвали, – шипела любимая. – Не мешай работать.

Ну уж это! Плоткин в бессилии воздевал кулачки. В ко-

ридор убежал.

В курилке разом создавал дымящегося слона. С ушами, с хоботом. Слон страдал, монотонно качался. Прикованный за ногу в клетке. «Да что ж ты дымишь-то так опять, а?» Техничка Разуваева с ведром и лентяжкой. «Ну-ка давай отсюда! Убирать буду». Для пушшего устрашения застучала лентяжкой в ведро.

Плоткин выбежал от грохота. Шёл и вздрагивал. Встречным людям быстро улыбался: «Она ненормальная, ненормальная. Не обращайтесь внимания».

У двери в редакцию стал, не в силах её открыть. Бежать было некуда.

– Григорий Аркадьевич, зайдите ко мне, – высунулся в коридор и позвал Яшумов.

– Бегу, Глеб Владимирович, бегу!..

Однако вечером в свой петербургский колодец уже не бежал – в туннеле раскачивался. Как пьяный заплетал ножками.

Ида Львовна смотрела на бледное лицо сына – опять накурился! Накладывала в тарелку кашу. Хотелось дать этой же ложкой по глупой кучерявой башке. Ну заикнись у меня ещё про балкон, только заикнись.

Но сын забыл про свою курёшку – сидел с остановленным взглядом. Ложки с кашей сами находили рот.

После ужина, как сомнамбула, как слепой наткнулся на свой стол в спальне. Сел. Нашупал авторучку. Закусил кол-

пачок, отвинтил. Бумага сама легла под перо. Стал писать: ... Вот, отпускаю руку на свободу, в люди. Писать утренние три страницы. Отпускаю вечером. Получается – вечерне-утренние три страницы. Мама смотрит телевизор. Никаких бабьих сплетен у неё, никаких ток-шоу. Выше этого она. Только серьёзное. Политические передачи, международные программы. Говорит сейчас министр иностранных дел. Похожий на смуглого лысоватого грифа. Любимое словцо у него – *зашкаливать*. Ни в одном интервью не забудет вставить его. «Накал страстей на переговорах зашкаливал». «Национализм у них прямо-таки зашкаливает». У Яшумова среди всех ненавидимых им слов это «зашкаливает» – на первом месте. «*Жара сегодня зашкаливает*». «А, Григорий Аркадьевич?» Даже у Савостина откопал: «*Любовь Артура и Регины всегда зашкаливала*». «А, Григорий Аркадьевич?» Мол, как жить после такого? Действительно – как? Ничего не подозревает обо мне и Лиде. (Или – делает вид?) Прямо-таки радуется, когда увидит вместе за одним столом – удачное творческое содружество двух редакторов. Страшненького мужчинки и красивейшей женщины. И соединил их (создал) он, Яшумов. Эх, Глеб Владимирович, знали бы вы, в каком тупике всё у женщины и мужчины. Только и осталось – одно содружество. Почти ничего уже в постели «не зашкаливает». Ну раз, ну два в неделю. Женщину всё стало раздражать. Можно представить только, какими глазами смотрит она на несчастного надоевшего любовника. Сына своего,

Ярика, к Иде Львовне не допускает. Под любым предлогом уводит. Хотя мальчишка рвётся, неподдельно любит, привязался к старухе. Да и в их дом когда придёшь – такая же история... Недавно собирали вместе воздушного змея. Чтобы побегать с ним вдоль канала. Из кухни вдруг послышался придушенный гневный голос женщины: «Не звони мне больше, слышишь! Никогда не звони! Я симку сменю, в конце концов!» И дальше, что называется, тишина. И только Ярик опустил глаза и напрягся. Кто это звонил? Полярник папа? Лётчик-испытатель? Или просто любовник мамы? Как Яшумов недавно вспомнил из детства, по фамилии – Хахаль?..

Папа Ярика не был полярником. Не был и лётчиком-испытателем. Ни живым, ни погибшим. Но имел отношение к авиации. Точнее, к авиастроению. Работал в закрытом конструкторском бюро. Познакомился с Зиновьевой Лидией точно так же, как знакомятся в сериалах: задел её широкую попу. Своим мотоциклом. Возле перекрёстка. Сбежались, конечно, люди. Пришлось разруливать всё, успокаивать возмущённых. Потом взгромоздить женщину на заднее сидение и осторожно везти в травмпункт.

Только там разглядел пострадавшую – красавица. Просто красавица. Поспешно схватил холодную потную ручку: «Кирилл. Кирилл Кочумасов!» – «Лида», – механически ответила женщина, всё морщась от ушиба. Чёрт бы тебя побрал с твоим мотоциклом!

У конструктора была в Питере двухкомнатная квартира, доставшаяся от умершей тётки. В квартиру красавица сперва никак не хотела. Но привыкла. Стала приходить. Чай, вино. Скрипучий диван. Который всегда досаждал. «Сменю, сменю, милая! Обещаю! Не отвлекайся».

Но диван любовник никак не менял, и Зиновьева хотела уйти. Тогда Кочумасов пошёл на крайний шаг – встал на колени с дешёвеньким колечком в раскрытой коробочке. Лидия нахмурилась, но, подумав, согласилась. И зря.

Дальше началась фантазмагория. Оформление брака он сократил до минимума. В загсе были только его отец и подруга с работы Лиды – Зонтова. Вероника. Ни мать невесты, ни брат, из Вологды не успели. Испуганный старик отец делал всё, что говорил сын. Вставал со стула, садился, сдвигался к людям (для фотографии). Сын засунул его в такси, и тот уехал словно навсегда. Подругу Веронику он тоже сразу отеснил, как только та расписалась в книге. И Зонтова осталась стоять на крыльце, смотреть, как он уводит свою невесту (теперь жену) к новой светлой жизни. Уводит пешочком. Никаких такси (только для отца, потому что старый), никаких буфетов и шампанских. Скромнее надо быть, дорогие друзья, скромнее.

Дальше было ещё круче. На свадьбу в кафе (не в ресторан!) он пригласил ровно пять человек. Двух непосредственных своих начальников с женами и холостячку Жданову из отдела кадров. Весь вечер постоянно уточнял у официантов названия вин (цены на них), бегал на кухню, уточнял блюда (дешёвые).

После всего возле кафе он крепко пожимал руки: «Приходите, приходите! Мы всегда будем рады!» Приглашённые, встряхиваемые им, уводили глаза. Все были трезвы как собаки. Расходились в разные стороны поспешно. Точно после просмотра фильма-кошмара. Зиновьева (невеста! жена!) стояла и словно бы не верила. Думала, что это розыгрыш. Пародия на кого-то. Тем более что супруг потирал руки, под-

мигивал ей и хихикал.

У Лиды было своё жильё в Питере, но в ступоре каком-то, который всё не проходил, переехала к Кочумасову. Правда, скромно. Всего с одним чемоданом. (Как знала, что не задержится.)

Он считал каждую копейку. И не из-за нужды, а словно из спортивного азарта. На работу и с работы он гонял на велосипеде – и здоровье, и значительная экономия средств. Иногда приходилось на мотоцикле. Когда опаздывал. Но редко – бензин дорожает и дорожает, знаешь ли.

Он не курил, не пил. Поэтому друзей у него не было. Лысое темя его напоминало печальную поляну с погибшими муравьями. Зато глаза были деятельны, востры, всегда в работе. Он постоянно подсчитывал. И в уме, и на калькуляторе. Он помнил цены на все продукты, в каком магазине картошка дешевле, в каком дороже. Где сегодня скидки, а где только через неделю. Как в рекламе, он бегал за скидками впереди толпы. У него было несколько тетрадей, куда он записывал все расходы. По дням, по неделям, по месяцам. Он вычерчивал графики, диаграммы с взмывающими и падающими кривыми. Об электричестве, о газе и говорить нечего – с фонариком в зубах он пролезал к самому дальнему спрятавшемуся счётчику. И сразу начинал подсчитывать. Не вставая с коленей и не выплёвывая фонарика.

На вопрос, чем он занимается в конструкторском бюро, он сказал только: «Подписка». – «Что «подписка»?» – не поня-

ла Лида. «О неразглашении», – добавил супруг. О своей зарплате – ни звука: двойная подписка. Зато точно знал, сколько получает жена. И деньги забирал сразу, едва та с зарплатой переступала порог. Забирал, чтобы выдавать ей потом по спискам из тетрадей. По разделам в них: «на метро», «на обед», «на мороженое» (на одно, иногда, если сильная жара).

Где он прятал деньги – жена не знала. По ночам, проснувшись, видела на стене в большой комнате тень. Вроде бы от мужа. Тень ползала по стене, горбилась, делала что-то внизу руками. Конечно, это была патология. В чистом виде. Все гобсеки и плюшкины отдыхали.

За границей он был только раз. В Японии. Будучи студентом, по обмену. Но постоянно рассказывал новоиспечённой жене только об одном случае из всей поездки. Как в супермаркете наблюдал за японцем, который хотел купить куриную ножку, завернутую в прозрачный целлофан. Японец стоял над куриной ножкой с полчаса, наверное. А может, и больше. И так и не купил её! «А почему, Лида? – смеялся Кочумасов. И объяснял ошарашенной жене: – Японец может позволить себе куриную ножку только раз в месяц». И это всё говорилось уже серьёзно, мечтательно и даже с завистью: «Японцы умеют жить, Лида».

Брат Сергей, поговоривший с Кочумасовым только раз, сказал о нём сестре тихо и коротко: «Жмот». И сразу уехал назад. В Вологду. Бежал от Кочумасова. Даже чуть не увёз с собой сумку с продуктами, которую собрала для Лиды мать.

...Зиновьева забеременела сразу, но Кочумасов не поверил в срок зачатия. Муравьи на его темени словно бы ожили, заползали. Стал говорить (со смехом, правда), что когда появится «киндрик» (его словцо) наверняка потребуются ДНК-экспертиза отцовства. Родителя, так сказать. Хи-хи-хи. Не забывал почти каждый день «про киндрика» и «неизвестного родителя», хих-хи-хи.

В конце концов Зиновьевой надоело это всё, собрала чемодан и ушла. Прожив со жмотом только полтора месяца. Развод судья тоже не задержала – детей у пары не было, мирить не надо.

Когда живот стал заметным, явно обозначился, несколько раз видела Кочумасова – тот выглядывал из-за деревьев и тут же прятался.

Точно в срок благополучно родила. Назвала сына Ярославом. Яриком. Фамилию записала свою. С отчеством получилось немного сложнее – отца своего, Петра Зиновьева, деда Ярика, Лида не знала. Тот оказался «полярником». Ещё до рождения маленькой Лиды завёл на какой-то льдине другую семью. Поэтому, немного подумав, отчество Ярику дала – *Сергеевич*. Ярослав Сергеевич.

Сразу же из Вологды приехала помогать мама. Учительница на пенсии. Всё в доме с маленьким сразу наладилось. Сама смогла выйти на работу. Продолжила всё в той же заштатной газетке. Корректором.

Несколько раз мать после прогулки с внуком возле дома

рассказывала о мужчине явно сумасшедшего вида, который опять лез к Ярику. Совал ему, лежащему в коляске, конфетку. Одну и ту же будто. Замусоленную. Приговаривая при этом «а вот конфетка тебе, киндрик, а вот конфетка».

– Не твой ли это кратковременный муж? Может, попробуешь с ним. Всё же – отец?

Дочь хмурилась.

Мама, теперь уже покойная, не раз говорила потом дочери: «Не будет у тебя счастья, Лида. С твоим характером. Не будет. Очень ты гордая».

Лида и сама понимала это. Чувствовала к тому же, что обделена так называемым «женским счастьем». От природы. При близости с мужчиной (с любимым, которые были) не чувствовала ничего. Ощущала себя машиной. Просто машиной для приёма и переработки какого-то там сырья. Холодная красота, – без жалости смотрела иногда на себя в большом зеркале. Вера Холодная 2000-х. Которая одеваться к тому же не умеет. Учителка. Учителка в школе. Которая пытается поправить сейчас на плече нелепый какой-то аксельбант.

И вот теперь – Плоткин. Полная противоположность Кочумасова. Как быть с ним? Ведь лучшего отца для Ярика не будет...

Глава седьмая

1

Савостин совсем обнаглел – не слушал, о чём говорил Купцов. Начальник жужжал где-то там, в начале стола, вдалеке. Савостин торопливо писал в блокнот: «Артур включил фонарик и сразу увидел по стенам страшные морды клопов. «Непорядок», подумал про себя Артур».

– Савостин!

Савостин сидел с оловянными глазами. Пшёнкина толкнула.

– Я весь внимание, Роман Васильевич!

Пшёнкина перевела дух: ну ты, Виталька, даёшь!

В обед она была типа наездница. Скакала на нём. На диване. Но всё равно не впечатлила. Нет. Надоела уже. Пора менять. Наездниц на переправе не меняют. Или меняют? Неважно.

– Ну куда, куда опять лезешь! Не видишь – думаю.

Схватил блокнот, который всегда под рукой. Даже в постели с Пшёнкиной: «Когда бомбы с неба стали рваться в гуще убегающих солдат, Макс открылся внутренний мир простых советских людей. «От гады!» – воскликнул Макс и дал длинную очередь по кружащим стервятникам-вертуха-

ям». Здорово! Точно! Ёмко!

Пшёнкина лежала и смотрела на компактный книжный шкаф под стеклом. Прямо напротив дивана. На шкаф только для одной книги. Под названием «Родина в огне». Три неполных ряда одинаковых книг осталось. Год назад было пять рядов. Ровно триста экземпляров. Тираж, изданный писателем за свой счёт. Кому и где рассовал книги – неизвестно. На работе даже не пытается – боится. Хотя все знают о великом писателе.

– Виталик, а почему у тебя в шкафу нет других авторов? Других книг?

– Ещё чего. Голову-то забивать. У писателя голова должна быть чистой. У меня всё здесь. – Писатель постукал свой лоб указательным пальцем. Высокий лоб, надо сказать, постукал. Увеличенный ещё и торчащим петухом. Несколько растрёпанным, правда, сейчас.

Пшёнкина смотрела на писателя. И этот человек – с высшим образованием. Даже с двумя, как говорят. Оба диплома в переходе купил? Одновременно, разом? Или всё же с перерывом? В день, два?

Савостин добавил недовольно:

– Я в школе ещё начитался... Пушкин, Фамусов, Печорин... Эта, как её?.. Арина Родионовна... Ну и другие. Сама знаешь... Давай поднимайся. Опаздываем.

Как всегда поели и быстро собрались.

Возле машины у канала сказал любовнице:

– Прикрой меня сегодня. Скажи Купцу (Купцову), я после обеда на Петроградскую. Он знает зачем. И Алёшина предупреди, а то ляпнет опять, как в прошлый раз...

Постоял, словно что-то забыв. Выхватил блокнот: «Голос Макса был необычен басовитый словно замогильный». Вот как надо писать! Убрал блокнот и ручку.

– Сегодня в Смольный сама. Ну, пока!

Прыгнул в свой Рендж Ровер и сразу помчался вдоль Мойки.

Пшёнкина осталась точно раздетая им. Мгновенно. Раздетая до трусов!

Однако парень обнаглел. Смотрела вслед, невольно прикрывая грудь.

– Вот. Мои исправления. И к Артуру, и к Максу.

Савостин скромно, но с достоинством положил листочки из блокнота на стол двум редакторам.

– Я указал главы, где их вносить.

Плоткин и Зиновьева переглянулись. И сразу принялись читать исписанный листок. Исписанный, надо признать, чётким, каллиграфическим почерком. Почерком, каким сейчас уже, пожалуй, и не пишут. Отличник писал. Будущий школьный медалист.

Прочли. Первой полезла из-за стола Зиновьева. Словно с внезапным позывом в туалет. Однако Плоткин не растерялся – автора сразу похвалил:

– Отлично, Виталий Иванович, отлично. Обязательно внесём. Только требуется небольшая правка.

– Где? – нахмурился автор.

– Вот здесь, посмотрите. У вас – «Голос Макса был необычен басовитый словно замогильный». Написано хорошо, но без знаков препинания, без запятых. Понимаете?

– Так поставьте их. – Мол, какого хрена вы здесь сидите. Штаны и юбки протираете.

Хмурый автор уже шёл к двери. Петух его на голове преобразился в медный шлем. В пожарную непрошибаемую каску.

Вышел Савостин.

Плоткин тут же вскочил и с пафосом продекламировал: «О, сколько нам придурков чудных / Готовит просвещенья дух!» Редакторы с готовностью захохотали. И верстальщик Колобов. И художник Гербов. Который даже забыл про Яшумова возле своего стола. Забыл, что только что отдал ему рисунок на экспертизу. На оценку.

Яшумов стоял с рисунком, но смотрел на Плоткина. На хохмача. Плоткин несколько смутился. Покрутил неопределенно пальцами в воздухе. И уселся снова к монитору.

– Григорий Аркадьевич, зайдите ко мне.

У себя, сев за стол, устало спросил:

– И сколько можно, Григорий Аркадьевич?

(Смеяться, издеваться, унижать графомана.)

Григорий Плоткин сразу заходил возле стола:

– Да если не смеяться над его галиматьёй – с ума можно сойти. Глеб Владимирович. С ума! Понимаете! Это же защита для всех нас! Наша техника безопасности! Как вы не понимаете! – выкрикивал ведун.

Да, наверное, Плоткин в чём-то прав. С ума сойти от Савостина – можно. Однако...

– Однако одно дело, Григорий Аркадьевич, когда вся эта потеха устраивается вами приватно, только для Лидии Петровны, и совсем другое – когда вы вовлекаете в неё всю редакцию... Вы знаете, что я думаю о Савостине, о его писанине, но издеваться над больным человеком (а он просто болен, понимаете?), в конце концов, бесчеловечно. Странно, что вы этого не понимаете. Не осознаёте.

После разоблачительной этой тирады Яшумов на подчинённого взглянуть не мог. За поддержкой плаксиво смотрел на Салтыкова-Щедрина на стене. Который с бородой походил на иссохший серый водопад.

Плоткин на удивление молчал. Подрагивающим голосом заговорил:

– Хорошо, Глеб Владимирович. Я вас понял. Больше вы от меня ничего подобного о Савостине не услышите. – Голос его задрожал сильнее: – Ни приватно. Ни при всех. Извините меня.

Бедняга пошёл к двери пошатываясь, словно разучился ходить. Сейчас заплачет. Да что же это такое-то, на самом деле! Так недолго и врага себе нажать. И всё это – из-за гра-

фомана, который, как клоп, завёлся в редакции. Как клоп... со страшной мордой клопа, чёрт побери. Всего лишь из-за одного... засранца, как сказал бы тесть из Колпина!

2

В нагретой баньке Фёдор Иванович смотрел на свою раздетую жену, сидящую на полкѐ. И всё у жены давно обвисло. А ведь была когда-то ядрёной бабёнкой.

– Ну, чего уставился? – сказала жена, намыливая мочалку. – Парку лучше поддай.

«Уставился». «Парку лучше поддай». Черпанул ковшом и кинул воду на горячую каменку. Сам полез на полок. С колокольцами, уже будто с болтающейся пращой. Эх-х, куда их только закинуть?

– Ну-ка, подвинься давай. Расселась тут.

Распаренные, умиротворѐнные, с полотенцами на шеях, в доме пили чай. Пили по-деревенски, ностальгически, как пили родители – удерживая блюдца на пальцах. Доча ухаживала за отцом и матерью. Наливала свежей заварки, кипятку. Пододвигала пироги, мѐд. С тяжѐлым животом передвигалась осторожной утицей. Благодать, умильно смотрели родители. Скоро наследник будет. Или маленькая наследница...

По воскресеньям приезжал Яшумов. Едва только появлялся на пороге с пакетами и сумками, Федор Иванович сразу говорил жене. Громким шѐпотом: «Жана! Зять приехал! Мечи скорей на стол!» С деланным испугом говорил. Что-бы приехавший услышал. Мол, стели ковры, труби встрече!

Жанá!

Яшумов улыбался. Крепко жал руку тестю. Обнимал Анну Ивановну.

– Ну, где наша... – чуть не говорил «больная», но поправлялся: – ...наша дама в положении?

Так бывало всегда, в каждый приезд. И сегодня его встретили с теми же словами и повели к жене.

Яшумов сразу потащил на штанине Зигмунда, но хозяйева куда-то задвинули вредного кобелька. Быстренько завели дорогого гостя (или всё же зятя?) в комнату бабушки и дедушки и убежали хлопотать. «Метать» на стол.

Муж припал к беременной жене на кровати и сквозь набежавшие слёзы опять пытался разглядеть лебедя и лебедушку на коврике. Однако жена отстраняла его от себя и сама отстранялась – в телевизоре, оказывается, шло сегодня новенькое.

Показывали бои без правил. Перед схваткой два бойца с буграми мускулов встали близко друг к другу. Лицом к лицу. С явной угрозой. Два уroda с лобиками и челюстями неандертальцев. Судья развёл их и рубанул посередине ринга рукой. И началось. И пошли пинать, и пошли бить об пол и ломать друг друга. Нет, лысый Макс с душевным басом тут, пожалуй, не потянул бы. Не-ет. Тут бульон покрепче.

Яшумов старался не смотреть на летающие тела, на орущих болельщиков. Здесь, в спальне дедушки и бабушки, он был, собственно, лишним. А ведь не виделись целую неделю.

– Тебе не вредно такие передачи смотреть? Для ребёнка не вредно?

– Не смейся. Да и просто так я смотрю. От нечего делать. Беременная выключила телевизор.

Потом, конечно, был обед в большой кухне-столовой. Ну и уроки народного языка для Яшумова. Уроки фольклора. Тесть разоблачал соседа (вообще-то своего собутыльника) и его брата (тоже не дурака выпить):

– Вот, два брата они. А ни за что не скажешь. Большая разница между ними. Это всё равно что кот-бомж против кота домашнего. Один – дикой, рыскающий, вечно голодный, а другой – навек сытый, отъевшийся, вылизывающий свои причиндалы...

Анна Ивановна не отставала от мужа:

– А жёны у них, что Клавка, что Манька – походючие. Позови в гости – сразу прибегут. А самим чтоб позвать – никогда-а. Ну как же: проставляться надо, всё готовить, всё на стол. Да. И всё припрашивают, главное, и всё припрашивают в гости.

О-очень интересно, ел и мотал на ус Яшумов. Невольно чувствовал себя тоже «походючим». Даже «побегучим». Как Клавка и Манька. Вот же: тоже хозяйева всегда «проставляются» гостю. И вино, и водка, и закуска – всё на столе! Интересно, к каким котам они относят его, Яшумова. Наверное, всё же к коту сытому, вальяжному, который только и делает, что вылизывает свои... тестикулы, если всё же сказать куль-

турно.

Беременная дочь, казалось, родителей не слышала. Сидела как-то крупно и широко. Как нередко сидят беременные. Сегодня её не тошнило, и она основательно ела. Обгладывала большую индюшачью ножку. «На меня нападает жор, – иногда честно говорила она Яшумову. – Когда нет блевоты». От народного слова «блевота» – Яшумов чуть не терял сознание. Но удерживался на ногах. Не падал. Сохранял достоинство.

После обеда *молодые* вернулись в комнату бабушки и дедушки, чтобы отдохнуть.

Беременная лежала на железной кровати с пампушками, дремала. Муж сидел рядом и держал руку на её высоком животе, напоминая лечащего врача с фонендоскопом. Глаза врача были мечтательными, сентиментальными, далёкими. Видели розового младенчика в ванночке, видели распашонки, ползунки, детскую колясочку в цветочках...

Однако через неделю, придя с работы, Яшумов услышал о себе такие слова:

– ...Мама, да какие коляски! Какие распашонки! Он же постоянно переводит деньги чужим, увечным детям! Эсэм-эсками. Постоянно! Особенно девчонке с голубыми глазами. На её лечение. 300, 500 и даже ТЫСЯЧУ в один раз. Постоянно, мама. Как увидит в ящике очередных попрошаек, тайком уходит с мобилой в спальню и переводит. Я просмотрела все его эсэмэски, мама!

Яшумов затосковал. Опять со снятым ботинком в руке. Так тоскует вор-карманник, когда его схватят за руку.

Мать, видимо, не поверила.

– Да точно, мама, точно! – продолжала дочь. – Он не только плачет над издохшими котами, мама!

Анна Ивановна наверняка была поражена. Смотри-ка, и денег не жалко. А ещё образованный. Сама, наконец, вступила:

– А я тебе говорила, доча, сразу говорила: забирай у него всё. Все деньги, какие принесёт в дом. Все, до копейки. И выдавай потом понемножку. На обед там, на метро. И хватит с него.

Дочь, видимо, смотрела на мать с насмешкой: в какое время живёшь, мама?

– А что, а что! – не унималась та. – Да отца нашего возьми. Да дай я ему волю – где бы наши денежки были? А? Ответь. В какой пивной, у каких дружков?

Дочь не могла ответить.

– То-то, – поставила точку Анна Ивановна.

После услышанного помимо воли провинившийся с ботинком в руке искал для себя оправданий. Больные дети в телевизоре – это же величайший позор зажавшихся властей. Величайший. Каких только детишек не видишь теперь на руках у измученных матерей. С тяжёлыми патологиями сердца, желудка, даже мочевого пузыря. Детей, так и не научившихся ходить на слабых ножках. С тонкими шейками. Когда

головка даже не держится. Без боли на это же нельзя смотреть! Когда видел такое, сразу сжимало горло, подступали слёзы. Тут же хватал мобильник и переводил деньги на номер счёта, всегда указанного в конце ролика.

Но так бывало, когда смотрел телевизор один. При жене, и уж тем более при её родителях, делать этого не мог. Потихоньку совал телефон в карман и уходил в спальню. И уже там, оглядываясь на оставленную открытую дверь, торопливо давил в мобильнике – переводил по 300 рублей, по 500 и даже по ТЫСЯЧЕ (один раз, девочке с очень голубыми глазами, которой уже сделали одну операцию на сердце, но нужна была ещё одна, более дорогая).

И вот теперь услышал наконец, что давно разоблачён, что виноват будет теперь до конца жизни.

На этот раз для глухих не стал хлопать дверью. Хватит, в конце концов. Надоело. Продолжал раздеваться. Снял, повесил мокрый плащ.

– Ты уже дома? А мы не слышали.

В дверях – жена. И её мать сбоку выглядывает. Как будто дочку направляет.

– Добрый вечер, – сказал Яшумов и прошёл в коридор, а потом к себе в кабинет. В кабинет отца.

– Ужин в кухне на столе, – догнали слова.

Сидел за столом, слушал, как в гостиной мелко смеялась, заходила Анна Ивановна: «Ой, не могу! Ой, животики надорвёшь!» В плазменном шёл, конечно, Юмор. С косоро-

той ведущей и всем её выводком замечательных юмористов. «Ой, животики надорвёшь!» – не унималась Анна Ивановна.

Дочь, как всегда, сидела каменно – изучала природу юмора.

Недавно горячо спорили на эту тему с Плоткиным. Дело было в кафе. Под таким же плазменным телевизором, в котором кривлялась всё та же компания юмористов с известной ведущей. Плоткин прямо-таки с пеной у рта доказывал:

– ...Да поймите, Глеб Владимирович! Восприятие юмора у всех людей разное! Один смеётся от пальца указательного, другому нужно этакое интеллектуальное. Тонкое, скрытное. Даже разные народы смешное воспринимают по-разному. Юмор русский, французский. Пресловутый английский...

Плоткин замер с вилок в руке, забыв про еду.

– ...Например, такое может быть объявление в английской газете: «Женское общество «Благопристойность» борется... за... за введение трусов для лошадей. (А?) Леди энд джентльмены, присоединяйтесь к нам!»

Яшумов чуть не упал на тарелку с бифштеком. А хохмач удивлялся своему экспромту:

– А? Где ещё такое могут сказать или написать? Только в Англии.

Главред отложил нож и вилку, вытирал глаза. Не-ет, это не твоё. Не ты придумал. Просто заимствовал (украл) у кого-то.

Ведун всё не мог отойти от экспромта, всё сдвигал брови. Переживал за тётушек из Общества. И за лошадей. Что те до

сих пор без трусов.

До конца работы Яшумов несколько раз вспомнил плоткинскую шутку. И всякий раз останавливал в рукописи карандаш и улыбался. Так у кого же ты всё-таки содрал эту фразу?

Вечером после ужина набрал-таки в поисковике ноутбук про тётушек и лошадей. Чтобы узнать, в конце концов, Плоткина эта шутка или нет. Набрал почти дословно...

Нет ничего о трусах! Нигде! Даже близко к фразе Плоткина.

Да-а. Талантливый парень. Талантливейший кучерявый Пушкин!

Но почему у такого свой роман никак не идёт? У такого одарённого?..

А из гостиной всё прилетало:

– Жанка, слыхала? «Она ему все мозги *проконопатила*»!
Ой, не могу, животики надорву!

3

Вместо *утренних страниц* Плоткин писал в шесть утра реальную главу. Писал на кухне:

Редактор Яшумкин открыл калитку сбоку ворот частного дома и вошёл во двор. Осмотрелся. Двор был пуст. Редактировать было некого. «Не туда, что ли, я?» – подумал Яшумкин с намерением вернуться назад, на сельскую улицу.

Решил всё же немного задержаться. Приятная сельская картина перед ним. Какой в городе не увидишь: раннее солнце пробивает туман, огород перед забором отпаривает. Кот рыскает по сырой земле. Брезгливо, хаотично. Бестолковое животное, подумал редактор Яшумкин, смурное. Не знающее, где будет в следующий момент.

Кот задрал головёнку, смотрит на ствол дерева. То ли чтоб взлететь наверх, то ли из просто любопытства. Впрочем, любопытство у таких только в рекламе кошачьего корма.

Принялся скрести ствол. Точить когти. Надоело. Замер. Непонятное животное, снова подумал Яшумкин. Совершенно. Клубок шерсти. Клубок космического хаоса. Отредактировать кота, пожалуй, не получится. Избалованное животное, глупое.

Вот пошёл он наконец. Вперевалку. Вроде бы к воротам. Сунул башку к решетке вниз. Лай собаки через дорогу вынюхивает. Вдруг с царпаньем взлетел на ворота. Прямо по

железу. Пошёл по ребру ворот канатоходцем. Сиганул на край крыши. И смотрит на Яшумкина угольными глазами. То ли сигануть на него хочет, чтобы перецарапать всего. То ли немо вопит, чтоб редактор снял его оттуда и отредактировал. Мяу-у! Ммяу-уу!..

Редактор Яшумкин попятился, спиной вывалился за ворота.

– Ты кого потерял, мил человек?

Через дорогу старик с утренней метлой. Улыбается. Эдакий святочный дедушка в рубашке и лаптях. То бишь в калошах.

Редактор Яшумкин смутился:

– Просто так я, дедушка. Ошибся адресом. Извините меня.

Быстро пошёл вдоль высокого забора. Ставшего вдруг низеньким, игрушечным. Длинноногий Гулливер в плаще, в шляпе, с длинными волосами и носом картошкой. Склонялся к зубчикам забора, тянулся, трогал рукой, точно хотел пересчитать. И... и проснулся...

– Ты опять спозаранку накурился! В кухню не войдёшь!

Мама. Ида Львовна. Командир производства. С седыми космами после сна. В измятой ночной рубаше.

– Сколько говорить! Поешь сначала, поешь! А потом за табак свой хватайся. – Ида Львовна переставляла кастрюльку и сковородку на плите: – И ещё, главное, мятную конфетку разжевал. Мол, мать не учует табака.

Ну всё. Теперь не попишешь. Приходится собирать всё со стола и уматывать в комнату.

С сигаретами покрался на балкон. Как всё тот же кот деревенский. Из кухни сразу застучали ложкой в пустой чайник. Сквозь стену видит! Пришлось вернуться за стол, к рукописи. Ну и мама! Прямо сторож с колотушкой.

Ели чёртову кашу. Перловую. Дескать, полезную. Откуда-то вычитала. Ложка в тарелке стоит. В горло каша не лезет. Ладно, хоть сегодня диетолог молчит. На спящем режиме.

Не тут-то было!

– Ты когда бросишь курить? А? Ведь всю ночь опять б́ухал. (БУхал – это не БухАл. Это значит кашлял. В переводе.) Как старикан в железную трубу! (Оригинальное её выражение). Мне что, на рентген тебя опять тащить? Задохлик несчастный? (Тоже её. Оригинальное.)

Пришлось растянуть слова на версту:

– Ну уж это ты, мама, зря-я. – И добавить с оптимизмом: – Я в порядке. Я в полном порядке. – Самодовольный артист дублирует в американском фильме героя. Очень себя ценит.

Во дворе закурил на пустой детской площадке. Среди слоников и белочек. Дымом окутался. Краем глаза видел на балконе кадку с фикусом. В белом фартуке.

Пусть смотрит, пусть. Ладно хоть молчит. Соседей стесняется. Но вечером – наверстает.

– Пока, мама!..

На работе прикоснулся щекой к любимой щеке. Всего на миг. «Привет, милая». Однако женщина отшатнулась, как от чёрта. И на всю редакцию прокричала:

– Здравствуйте, Григорий Аркадьевич!

И тут же процедила. В сторону от пьесы: «Какого чёрта пугаешь!»

Да-а. Действительно не любит? Или табак отпугивает?

– Доброе утро, господа!

Тут любовь всеобщая. Сразу окружили. Загалдели. Мужчины руку жмут, женщины чуть ли не оглаживают. Хохмы все ждут. Очередной. Для утреннего разогрева.

Извольте. Будет вам хохма.

– Господа, объявление в английской газете: «Женское общество «Благопристойность» борется за введение трусов для лошадей». Господа!

Все, конечно, упали. Мужчины затрубили в потолок, женщины стали гнуться, пристукивать ногами. Даже красивая мумия с оскорбленной щекой начала фыркать. Что тебе классная дама, подавляющая в себе непристойный смех.

– Григорий Аркадьевич! Зайдите, пожалуйста.

Голова из приоткрывшейся двери. С длинным сеном волос. Всегда на боевом посту.

– Пока, мои хорошие. Не поминайте лихом... – А голове – лучезарнейше: – Лечу, Глеб Владимирович! (Знала бы голова, что о ней сочиняют некоторые по утрам.)

Главред сидел, повернувшись к спасительной галерее на

стене. К портретной. На этот раз к Чехову Антону Павловичу. Антон Павлович с насмешливым прищуром смотрел. Был он в чеховском своём пенсне со шнурком. В портрете высвеченный художником, как небожитель в иконе.

– Григорий Аркадьевич, сегодня 28-е, лето идёт к концу, а Савостин у вас с Зиновьевой не двигается. На какой стадии работа над ним? – Карандашик стучал по стеклу стола.

«Макаркин смотрел на Яшумкина и думал: какой же ты скучный, дядя. И нос твой картошка глупый и скучный. И сам ты давно надоел».

– Григорий Аркадьевич, вы слышите меня?

«Стеклянные глаза Макаркина вернулись к действительности»:

– Слышу, слышу, Глеб Владимирович! Извините, задумался.

Дальше опять на пальцах пришлось всё объяснять, втолковывать.

«Но Яшумкин всё равно сидел недовольный. Он только что получил нагоняй от Акимкина. А тот, как известно, шутить не любит. Так что идите и работайте, товарищ Макаркин».

– Иду, иду, Глеб Владимирович. И Зинкину подключу.

– Какую Зинкину?

– Шучу, Глеб Владимирович. Уже убегаю.

«Надменная Зинкина даже не повернула головы. На прибрег Макаркина. Спросила только недовольно: «Что он ска-

зал?»»».

– Да так. Очередной втык от Акимова получил. Перекинул на нас. Не обращай внимания.

С новой надеждой прильнул возле экрана к милой щеке. Как *к пэрсикю*, сказал бы кавказец.

– На чём мы вчера остановились?

Зиновьева быстро прибиралась на столе, торопилась на обед. Приехал из Вологды брат Сергей. В свой отпуск. Надёжный буфер от Плоткина. Хотя бы на неделю. И Ярик теперь под присмотром.

– Когда познакомишь с братишкой? – Невинный вопрос от любовника. И, главное, заглядывает сбоку, помогает прибирать.

– Я на обед, Григорий Аркадьевич!

Опять на всю редакцию. И, бросив кучерявого, уже торопилась к выходу. Убить подлую мало! Убить!

Вернулась. Будто забыла что-то на столе. Снова прибиравала бумажки. Не прибрала, оказывается. Тихо сказала: «Приходи сегодня в семь».

– Я пошла, Григорий Аркадьевич!

Видела, что все ухмыляются, все давно всё знают, но ничего с собой поделывать не могла. Кричала и кричала каждый раз на всю редакцию. Это была даже не защита, – какое-то помешательство.

– Добрый день, Анатолий Трофимович! – прокричали Акимову в коридоре.

Акимов отпрянул к стене. Что это с ней?

– Я на обед! – обернулись и добавили ему ещё громче.

Дома дядя и племянник играли в нарды. Зиновьева не лю-

била эту игру. Всегда поражалась, как взрослый, начитанный человек (Сергей), человек с высшим образованием смог пристраститься к этой восточной пустой игре. Ведь каждый раз привозит гремучую коробку с собой. Она не влезает у него в рюкзак, она торчит из рюкзака на километр. Но вот он – улыбается в дверях, и чёртова коробка, конечно же, из-за плеча. И ведь не шахматы, не даже шашки – нарды! Племянника зачем-то научил. «Ура, дядя Сережа приехал, – бросается тот всегда к игроку в дверях. – И нарды привёз!»

На кухне Зиновьева не могла ни к чему привязать руки. Вернулась в комнату:

– Складывайте свою бандуру. В маркет ходите. Майонез мне нужен. Зелёный горошек. Варёная колбаса. Полкило. Вечером гости будут. Вернее – гость. Один.

Маленький игрок вскричал:

– Ура, дядя Гриша придёт!

Большой игрок торопливо складывал игру: что ещё за «дядя Гриша». Однако – сестра.

– Вина хорошего купи. Бутылку. – Подумала: – Ну и водки, что ли. Гость любит шандарахнуть. Но только фунфырик. Хватит ему. Чтобы мельницу запустить.

Сергей был старше сестры всего на год. Знал о ней всё: выросли вместе. А тут вдруг – «гость» у Лидки появился. Который к тому же любит шандарахнуть. Чтобы мельницу запустить.

– Ну, племяш – готов?

– Готов, дядя Серёжа!

– Тогда погнали.

Дядя и племянник направились к двери. И сумку под продукты не забыли.

– Деньги возьми, Сергей! В серванте.

– Ещё чего! – хлопнула дверь...

Вечером Сергей Петрович Зиновьев, начальник планового отдела Вологодского комбината железобетонных конструкций, встречал гостя (любовника) сестры. Он был искренне рад, что у неё наконец-то кто-то появился.

В прихожей перед Сергеем Петровичем стоял невзрачный и словно бы застенчивый мужичонка с кучерявой головой. Который ухватился за протянутую руку Сергея Петровича как за спасение. Который тряс её и непрерывно говорил, как спасённый. И смеялся. Без всякого фунфырика. К нему присоединился прыгающий Ярик, и два звонка сразу укатились в комнату. Оставив Сергея Петровича в некотором недоумении: однако застенчивый.

Сели за накрытый стол. Ярик забыл о приехавшем дяде – с обожанием смотрел на кучерявого. Лепился к нему. А тот – тарактел. Не умолкая. И шутки сыпались, и смех, и вопросы к Зиновьеву: кто вы такой, Сергей Петрович, да с чем вас можно кушать.

Зиновьев хорошо закусывал. Но отстранял лезущий графинчик, пил только вино. С улыбкой посматривал на сестру и её кипящего хахаля. Надо же, называет его на вы и по

имени отчеству. Впрочем, это так и должно у неё быть. Как говаривала незабвенная мама – Лидка наша красивая, но навек мешком пуганая: как бы чего не сказали, как бы чего не подумали.

Плоткин не умолкал. Умудрялся следить за будущим шурином. Брат был очень похож на красавицу сестру. Правда, нос – правильной красивой формы – был мелковат для большого лица. Словно взял его брат у сестры на время, напрокат. Зато глаза такие же: темные, бархатные. И волосы густой шапкой, как у сестры.

Плоткин, хитрый, подпускал:

– Вы большой начальник, Сергей Петрович. На вас всё производство держится. Весь ЖБЗ.

Зиновьев солидно надувался, но слова растягивал:

– Да не-ет, всего лишь в плановом я. Бумажки перебираю.

Однако пыжился не долго. Вдруг скинул маску и весело сказал:

– А не сыграть ли нам в нарды, Григорий Аркадьевич. А? – Сказал как совсем другой человек. – Знаете эту игру?

Плоткин отпал. Повернулся к Лиде. Как так, Лида? Начальник всего ЖБЗе – и нарды. Возможно ли такое? Я, может быть, ослышался?

Зиновьева не выдержала, рассмеялась:

– Ладно уж. Сыграйте. Пока я чай буду собирать.

Двое взрослых и мальчишка – сразу к дивану. И вот уже встряхивают коробку, тархтят кубиками, как небывалыми

драгоценностями, и раскрывают её, и начинают кидать кубики. И про всё на свете забыли! Оказывается, и Плоткин тоже большой мастер в этой дурацкой игре. Сразу учить начал. Останавливать, доказывать.

Лида Зиновьева улыбалась, уносила всё со стола, чтобы затем накрыть чай. С тортом. С домашним вишнёвым вареньем, которое привёз с собой Сергей.

Но игроки (кроме маленького) ещё до чая вдруг полезли в кухню курить. Сергей распорядился. Как у себя дома. Раз балкона нет, а на лестнице нельзя – потерпишь, Лида.

Задымили, не обращая внимания на хозяйку. С рукой в форточке Зиновьев походил на баскетболиста-дылду, забывшего руку в корзине, а коротышка Плоткин с дымом – на его беспокойного наставника, тренера. Лидия Петровна не выдержала, захлопнула их. Какой пример Ярику!

– Куда лезешь? Там никотиновая баня! Повеситься можно!

Мальчишка гыгыкал: обманываешь, мама. Там никотиновый рай!..

В воскресенье в парке всё на том же Крестовском Лидия Петровна смотрела на двух мужчин, которые, словно соревнуясь в удали перед ней, взмывали и падали на русских горках. Ярик дёргал за руку: «Во дают, мама! Вот крутые!»

Зажатые в тисках, Зиновьев и Плоткин вылетали наверх, солнце баловалось наверху, не находило себе места, и друзья с криками вновь устремились вниз.

Выдернутый Сергеем из механизма, Плоткин пляснул на твердом, чуть не упав, но устоял.

– Лидия Петровна, невероятно! невероятно! – восклицал он. – В следующий раз непременно с вами покричим!

Пошли дальше. Однако Плоткин вошёл во вкус. Решил добить Зиновьеву и остальных.

Когда его привязывали к катапульте, громко спросил у Сергея Петровича, к какой партии тот принадлежит.

– В ЛДПР я вообще-то, – удивился тот. – А что?

– А меня, если погибну... прошу считать коммунистом!

Закрыв глаза и взлетел в небо.

Его отвязывали на земле. Совали нашатырный спирт. Космонавт мотал головой. Нужна была реабилитация.

– Ярик, за мной!

И как уже было здесь, космонавт плавно плавал с мальчишкой по кругу в неопасной лодке. Шла реабилитация. К брату и сестре выплывали две рожицы с улыбками до ушей.

Сестра трудно спросила: «Как он тебе?» Вынуждена была спросить. Брат мгновенно понял: «Мировой мужик, Лида! А хохмач какой! И Ярика любит. Даже не раздумывай. О свадьбе не забудь позвонить». «О свадьбе». «Даже не раздумывай». А брат уже встречал двух отважных:

– Вот вам по мороженому, корешки. За храбрость!

Ещё ходили по парку. Стреляли по очереди в тире. Кроме Зиновьевой. Катали Ярика на пони. Тут работала сама мать, шла рядом, оберегала. Мужчины в это время глотали табак

в кустах. Выглядывали оттуда, как диверсанты.

В кафе, куда, проголодавшись, зашли, всё было так, как и должно быть в кафе в парке – яркие рисованные звёзды на чёрном потолке, барменские понты с летающими над стойкой бутылками, тихая приятная музыка, под которую томно пережёвывались со своими дамами кавалеры.

После вкусного долгого обеда, где был и мясной салат, и рыбный, и овощной; и вкуснейшая пицца, когда большущий треугольник подносишь ко рту на пяти пальцах, как часть от целой клумбы на столе; и бутылка хорошего вина, и тархун для Ярика, и мороженое шариками – после всего этого пиршества Плоткин и Зиновьев спорили, кто должен расчитаться. («Я заплачу» – «Нет, я! нет, я!») Начальник ЖБЗ не торопясь разваливал надёжный верный бумажник, набитый купюрами. Плоткин по всем карманам – шарил. Выдёргивал бумажки. Официант индифферентно стоял. Напоминающая клюшку от гольфа. Шустрый Плоткин победил – насовал индифферентному сполна.

Когда ехали домой, Ярик в мотающемся вагоне привалился к маме и спал, обнятый маминой рукой.

Разбуженный, потягивался:

– Это уже наша остановка? Да?..

Всю неделю, пока брат гостил, Плоткин каждый вечер неизменно возникал на пороге. Зиновьева, встречая, помимо воли недовольно опускала глаза. Никакой буфер не получался. Более того – Плоткин душевно тряс руку Буферу, тот

ему тоже. Потом, точно талисман, оба теребили голову Ярика и, не теряя ни минуты, сразу же усаживались к нардам. И Ярик, конечно, вместе с ними.

Зиновьева садилась за стол. Забытая игроками, смотрела. Хорошо, что с приездом брата престала хотя бы летать женская одежда в спальне. Но ведь это ненадолго. Сергей скоро уедет. Бродила у женщины утопическая мысль. Мысль-утопия: хорошо бы создать нечто вроде шведской семьи. Женщина, двое мужчин и мальчишка. Но абсолютно без секса между взрослыми. Абсолютно. Только душевное, светлое...

В ужасе похолодела: да ведь вторым мужчиной в этой шведской семье будет брат, родной брат женщины!.. Вот додумалась так додумалась кошунница.

– Мама, ты чего? – затряс плечо Ярик. И два шведа бросили игру и вылупились.

Справилась с собой:

– Ничего, всё хорошо. – Приказала: – Руки мыть и ужинать...

В субботу брат уезжал. И отпуск заканчивался, и сожительница ждала. С которой он то сходил, то расходился.

Плоткин не мог поехать со всеми на вокзал, не мог бросить работу, зато для Зиновьевой на всю редакцию прокричал. Громче её самой:

– Лидия Петровна! Сегодня уезжает ваш родной брат, который у вас гостил. Уезжает к себе домой, в Вологду. Вы можете поехать, проводить его. А мы вас прикроем! Верно, гос-

пода?

Редакторы одобряюще загалдели: прикроем, Лида, прикроем, не сомневайся!..

На московском вокзале, в начале платформы, втроём ждали поезд на Вологду. Низко висящий современный потолок походил на аллигатора в шипах. Ярик посматривал, жался к Сергею. Тот, приобняв его, как бы успокаивал. Из рюкзака дяди, конечно же, торчали нарды.

– В общем, Лида, моё мнение о нём ты знаешь. Не раздумывай, соглашайся. Как решишься, позвони, пожалуйста. Мы с Галей приедем. Я с работы отпрошусь.

– Когда, когда приедете? Дядя Серёжа? – сразу забыл про аллигатора Ярик.

Дядя наклонился к племяннику и вместе с ним посмотрел на Зиновьеву:

– Это от мамы твоей зависит.

А? Мама? Мама почему-то отвернулась, закрутила головой.

Показался поезд. Неторопливо полз, приближался.

Зиновьев быстро снял рюкзак и выдернул нарды. Ярику протянул:

– Держи, племяш! Будешь играть с дядей Гришей!

– А вы? – Мол, как же без них останетесь? Дядя Серёжа? Ведь инкрустированные, ручной работы?

– Ничего, я другие закажу. Не хуже будут... Ну, родные мои... – Обнял сестру и племянника вместе с коробкой.

Видели потом, как он протискивался в низком, словно бы игрушечном вагоне, цепляясь рюкзаком за что попало.

Уселся наконец. Казалось, разлёгся у самого пола. Рукой помахал, поехал.

Шли за поездом, тоже махали.

Потом мать повернулась к сыну:

– Ну, и что теперь делать мне с коробкой твоей?

– А ничего не сделаешь теперь, – ответил храбрый сын. –

Подарок.

В обед раздетая Пшёнкина лежала на диване в ногах у Витальки, свернувшись клубком. Подрёмывала. Савостин лежал на животе, но умудрялся писать. Удерживал себя на локтях: «Удар ноги в пах, и отсечённая голова. И дальше Артур двигался бесшумно, на четвереньках словно пантера. Артур впереди заметил часового. Хотя он стоял за деревом, Артур слышал его бурное дыхание алкоголика. «Счас я тебя, гад, достану» – прошептал Артур и покачал в руке клинок убийства. «Н-на, гад!»»»

– Ну чего ты пинаешься, Виталя, – дёрнулась сзади Пшёнкина. – Поспать не даёшь.

Вот ещё зараза. Сбила всё. Ещё раз лягнул. Нарочно. Без Артура.

– Ну, Виталя.

– А ты не разлёживайся. Собирайся. Муж дома ждёт, ха-ха-ха!

Смеялся. *Как Артур с превосходством.*

Пшёнкину Вальку сразу смело с тахты. Злющая, как Регина, завывалась в ванную. Не любит, когда мужа упоминаю. Хотя видел его один только раз. На Невском. Везла в коляске. Ноги у доходяги мужа как плети. Пшёнкина остановила коляску. Хотела познакомить, стерва. Ещё чего! Мимо прошёл. После этого злится. Особенно когда скажешь «со-

брайся, муж дома ждёт, хах-хак-хак!».

Валентина Пшёнкина зло шоркала себя мочалкой в душевой кабине. Мерзавец! Ничтожество! Он, видите ли, писатель. С большой буквы. Са-вос-тин. Вы слышали о таком гениальном? Постоянно издевается над бедным Володей. Знал бы тот, с кем связалась его подлая потаскуха. Слёзы жгли, выедали глаза. Зажимала рот ладошкой, чтобы гад в комнате не услышал плача.

Савостин прислушался. Что-то долго подмывается, хе-хе-хе. Хорошо поимел шалаву. Довольна. Вот, явилась наконец. В полотенце завернутая. В кресле развернулась. Грудей почти нет. Хотя сама в теле. Стала хватать свои тряпки, прикрывать ими грудь, одеваться. Молчит, не смотрит, обиделась. Сейчас придёт домой: «А я у подруги была. Не скучал?» Как же, «у подруги», посмотрит доходяга черныбыльский из коляски. У «подруги». Ага. У которой прибор всегда в порядке. Ха-ха-ха!

Во-во, пошла. Опять как Регина. Вихляясь. Хлопнула дверью. Ну и хрен с тобой. Всё равно менять буду. Надоела.

Савостин из угла дивана дёрнул к себе ноутбук. Удобно уселся, раскрыл. Прошёл в Свой раздел в библиотеке Горшкова. Посмотреть, сколько посетили за сутки «Войну Артура». Не поверил глазам своим – всего двое. Два читателя! За сутки! Вот козлы так козлы-ы.

Тут же начал открывать и закрывать «Войну Артура». Сам рейтинг наколачивать. Открывал и закрывал раз двадцать.

Вот так-то лучше будет, козлы.

Не забыл в игралке несколько раз расстрелять и взорвать убегающего гада Купцова. «Вот тебе, гад! Вот!» Захлопнул ноут. Настроение сразу поднялось.

Но в душе опять увидел мыльную непромытую мочалку. Никогда не помоешь за собой! Брезгливо бросил в ведро. Лупил струями по всей кабине, смывал всё после неряхи. Только после этого сам залез и помылся.

Перед зеркалом жужжал бритвой. Потом занялся лицом серьёзно. Причёска ничего, держится, а вот лицо опять оплыло и морщины под глазами. Пришлось больше дать румян и под глазами замазывать. Пора к Альбертине Зуевой. В салон. Хороша бабеч. С пышной причёской. Хорошо бы её прямо в салоне установить. Да это ладно, это потом. А сейчас – одеваться. Сегодня в новое издательство. Запасное. Вроде бы тоже купились на губернатора. Тоже халявщики. Как и Акимов. А тот всё успокаивает: «Не волнуйтесь, Виталий Иванович! Напечатаем, издадим! Вот где они все у меня!» Кулачок даже сожмёт. Трепло несчастное...

С одной рукой на руле летел по набережной. Свернул в арку к проходному двору. И сразу увидел Плоткина. Кучерявую башку его. Идёт домой, подпрыгивает. Счастливый. Наверно, после траха со своей Зиновьевой. Шваркнуть бы, гада. Да ладно, живи.

Пуганул сигналом сволоту, промчался.

Глава восьмая

1

Жанна в спальне надевала бандаж для беременных. Муж посматривал, следил. Жена становилась похожей на взнузданную лошадку. На плоткинскую лошадку в трусах.

Муж начинал смеяться.

– Не смотри! Хихикает там ещё чего-то.

Муж не обижался. Соскакивал с постели, обнимал, целовал жену в щёку и бодро направлялся в ванную, утаскивая с собой куртку пижамы.

За завтраком, поглядывая на жену, загадочно стучал ложечкой по темени вареного яйца. Как будто ставил на нём веселые точки.

– Чему ты радуешься? – хмурилась Каменская.

– Сюрприз, дорогая, сюрприз, – отвечал супруг уже со следами желтка на губах. Весь усугубленный желтком, как сказала бы мама. Э, интеллигент. Слюняву до пупа подвесь. Как профессор Преображенский.

Потом, несколько не скрываясь от жены (жены законной!), он стал названивать своей стервозе Колесовой. Уже в прихожей. Уже на выходе:

– Аня, привет! Ну ты как сегодня? Тогда я к тебе. Буду

через полчаса.

Повернулся как ни в чём не бывало:

– Ну, дорогая, я пошёл. Жди к обеду.

Хлопнула дверь. Каменская села на банкетку: чего он надумал там со своей Колесовой?..

В супермаркете Яшумов и Анна Колесова ходили по открытому отделу одежды для новорождённых.

Опытная (растила двух сыночков) Аня набирала всё быстро и точно. Брала распашонки, ползунки, пелёнки; чепчики тонкие, чепчики тёплые; кофточки фланелевые, кофточки тонкие; царапки («Что это?!» – пугался Яшумов. – «Варежки на ручки, чтобы не царапал лицо и не сосал палец»), подгузники. (Ну это понятно.)

– А как ты определяешь, для мальчиков или для девочек? – заглядывал будущий папа.

– А никак. Всё для младенцев одинаково. И для девочек, и для мальчиков. Можно, правда, разного цвета. Но не обязательно. Пора бы это тебе знать.

Яшумов удивлялся: надо же – одинаково. Но можно разного цвета.

Когда рассчитался на кассе, вдруг увидел на стене фотографию голого младенца-ползуна. На руках он и коленках. Повернул голову к зрителям, улыбается. С памперсом сзади, как взрывник с большой закладкой.

Яшумов уже отворачивался, унимал смех. Анна тоже посмотрела, улыбнулась: «Скоро у тебя такой же молодец будет

ползать по квартире».

Вернулись в Дом Зингера. Но в книжную секцию Ани не пошли, а сразу в кафе. Сняли плащи, повесили с пакетами на напольную вешалку в виде весеннего голого саженца. Богато одели его. Анна села за столик, расправила газовый шарф, Яшумов пошёл к барменской стойке.

Ели бутерброды с колбасой и сыром, запивали соком.

Потом пили кофе. Смотрели в окно.

Всё тот же собор стоял неподалёку. С куполом, взятым у конгресса США. С чуждыми строениями, нагроможденными внизу.

Аня рассказывала о своих: о двух сыновьях, их женах, о внуках. Яшумов рассеянно слушал.

Женщина почувствовала его настроение:

– Что-то дома у тебя случилось? С Жанной? Рассказал бы, Глебушка, не таился.

– Да что тут рассказывать. Ошибся я, Аня. Четыре года назад. Ошибся. Но я всё равно счастлив. У меня будет сын или дочка. И это в мои почти пятьдесят лет. Не чудо ли это?

Да уж, действительно – чудо, напряжённо смотрела женщина.

– А вообще, – уже сник Яшумов, – мы любим вопреки всему, понимаешь. Вопреки. Не нужно любить этого человека, а мы – любим. Так что я счастлив.

Колесова смотрела с жалостью на друга покойного мужа. На его растрёпанные длинные волосы.

Стала успокаивать:

– Ничего, ничего, Глебушка. Вот родит – и всё у вас наладится. После родов женщина меняется неузнаваемо. Вон у меня старший Иван со своей Наташкой – как собачились, думала всё, развод, а родила одного да следом второго – теперь душа в душу. Уж ты мне поверь, старой сводне. Всё кардинально меняется у женщины после родов.

Вот именно – «кардинально». Куда уже кардинальней, Аня?..

Дома, молчком раздевшись, явил себя жене с розовым ползунком на пальчиках. Хитро покачивал им. Мол, как тебе такое? С китайской улыбкой покачивал. Хотя прямо сейчас снимай его для рекламы.

Каменская изменилась в лице. Испуг в нём, смятение:

– Это же нельзя до родов делать, Глеб. Показывать ползунком.

– Да кто это тебе сказал? – смеялся муж.

– Мама, мама сказала. Она знает.

Яшумов не находил слов.

Пока ходил с ползунком и кричал потолку – дикость! бред! средневековье! – сумки с детским из прихожей исчезли.

– Где сумки?

– Прибрала. Путь полежат. До поры. Дай сюда и ползунком!

Ползунком вырвали из рук.

Тогда ехиднейший был задан вопрос:

– А как же с ванночкой для младенца быть? – И дальше посыпались вопросы: – С градусниками ему же? И для тела, и для температуры воды? С сосками, с комбинезончиками для гуляния? С детской кроваткой? С коляской для гуляния, наконец?

– Вроде бы можно.

– Кто разрешил?

– Мама. С ползунком нельзя.

О, боги!

2

Савостина внезапно увидел в вагоне метро – сидел наискосок метрах в десяти. Сидел неузнаваемый – печальный и... осмысленный. С осмысленным лицом. Невероятно!

Яшумов посматривал. Как соглядатай, как сексот. Удивляло, что на метро сегодня. Рендж Ровер сломался?

Парень ответить не мог, по-прежнему сидел-покачивался грустный. Поднялся. Пошёл на выход. Мимо Яшумова!

Главред беспомощно раскинулся и даже зажмурил глаза.

Но Савостин стоял уже возле двери. С петухом своим, тоже унылым. Да он же к нам в редакцию направился!

Яшумов малодушно сидел, не в силах сдвинуться с места. Так и поехал дальше, наблюдая за побежавшим назад графоманом.

Сошёл на следующей. Потом стоял на спасительном своём мосту о четырёх львах. Смотрел вниз, на бегущую воду.

Невольно думалась о Савостине как о человеке. Не авторе даже, не графомане, просто человеке. Со слов Григория Плоткина, который познакомился с нашим героем первым, случайно, в какой-то компании (по пьянке, как он выразился, на лестнице, в перекуре) – Савостин был вроде бы откуда-то из-под Рязани. То ли из рабочего посёлка, то ли из деревни. Кто родители – неизвестно. Хвалился, что окончил школу с золотой медалью. Врал, конечно. Воевал в Афгани-

стане. Это, пожалуй, правда. Некоторые детали даже в графоманском «Артуре» не выдумаешь. А как с липовыми дипломами институтов попал в администрацию губернатора – полный провал памяти у нашего героя. Женат ли, разведён, есть ли дети – пустой экран. Чёрный квадрат Малевича.

Так что же ты за человек, Виталий Савостин?

Яшумов всё смотрел на вылетающую из-под моста воду в лопающихся пузырях. Со стороны казалось, что человек сейчас бросится вниз.

Его тронули за плечо:

– Вам нехорошо, мужчина?

Женское отцветшее лицо. Но глаза в начернённых ресничках напряжены, испуганы.

– Нет, нет, что вы! – рассмеялся Яшумов. – У меня всё прекрасно! Просто задумался.

Женщина в куцем платье дальше пошла, сутуло понесла тяжёлую сумку с продуктами.

Тоже двинулся следом. Савостин наверняка уже убрался из редакции. Однако среди усердных голов за компьютерами сразу же увидел его. Петух расфуфыривал перья перед Плоткиным и Зиновьевой, сидящими за одним столом: «Да у меня в библиотеке Горшкова уже 2000 скачиваний! Каждый день скачивают моего «Артура» 30-40 этих, как их (козлов?), читателей!»

Плоткин возражал, что-то доказывал.

Было желание повернуть назад (в который уже раз!), но

пересилил себя, поздоровался со всеми. Трое у стола повернулись и раскрыли рты. Точно одни в редакции. Точно уличённые в чём-то нехорошем. Плоткин и Зиновьева поспешно полезли из-за стола. Мол, проходите, проходите, Глеб Владимирович к себе. Никто вас не тронет. Гарантируем! Савостина нейтрализуем! Савостин независимо задрал голову.

Яшумов шёл к своей двери. Наклонял голову. Помимо воли поднимал плечи. словно ждал камня. Или, на худой конец, палки по спине. Чёрт знает что! Клиника! Шиза!

У себя налил из графина в стакан и пил тухловатую воду. Поставил стакан. Нет, что-то нужно делать с Савостиным. Нужно убирать его из редакции. Чтобы духу его не осталось. И сделать это можно только одним способом: напечатать. Напечатать его галиматью наконец. Издать.

Снял трубку: «Григорий Аркадьевич, зайдите ко мне, пожалуйста».

Плоткин у себя бросил трубку и побежал.

Зиновьева осталась.

Обиженный (разгневанный!) Савостин ходил возле стола. Чуть погодя опять телефон. Красивая гадина схватила трубку. И тоже убежала.

Теперь Савостин остался. Один возле брошенного стола. Вот козлы так козлы. Все трое убежали-спрятались! Саботируют Артура. И гад Акимов не идёт.

Остальные клоуны за компьютерами – все будто не здеш-

ние. Ухмыляются только. Хрюкальными своими отвратительными мордами.

– Виталий Иванович, не хотите минералки?

Художник Гербов. Покачивает стаканом и бутылкой. Улыбается зубами. Из подлой пасти динозавра.

Вот это да-а. Куда ты, Артур, попал?

В кабинете Главреда звучали вариации на одну и ту же тему. Бубукал недовольный сердитый тромбон, вытягивала фразы смычком серьёзная виолончель, пищала, бегала неукротимая флейта.

...сколько можно говорить одно и то же, коллеги? Почему не движется у вас Савостин? Сколько будет он ходить сюда! Он же рок для нашей редакции. Гибель. Тридцать лет работаю с книгами – такого не было. Почему вы только потешаетесь над ним и ничего не делаете? Сдайте рукопись, в конце концов, какая она есть. Я всё подпишу. Сдайте!..

... извините, вы не правы, Глеб Владимирович. Мы работаем, и работаем усиленно. Из двадцати пяти листов осталось десять (Тромбон схватился за голову, не в силах пукнуть, что-нибудь возразить). На это нужно время. Думаю, в сроки уложимся. А если задержим, то ненамного...

...а я придумал! я придумал! Макса к чёртовой бабушке! Сокращаем. Сразу вылетит листа три! Вместо него подселим человек пять. Коротко, схематично. У меня есть уже одна героиня. Зойка-автоматчица. Она не многословна, Глеб Владимирович, стреляет-косит от бедра. А Глеб Владимирович?..

Выдохлись музыканты. Они же блюститители русского языка. Сидели под портретами корифеев, приходили в себя. Из-

бегали смотреть друг на дружку.

Кучерявый флейтовый пропел, вытираясь платком:

– Правильно вы говорите, Глеб Владимирович. Он беда. Он разгуливает у нас, как у себя дома. Мы в заложниках у графомана оказались. С его грантами, восковыми, с губернаторскими крышами. С нашим дураком Акимовым. И действительно, пора кончать с ним. Без всякой жалости.

Виолончель и тромбон уставились на флейту с изумлением. С испуганным изумлением. Смотри-ка, кровожадная какая...

В обед в кафе Плоткин уже смеялся:

– Он графоман неистребимый, вечный, Глеб Владимирович! Убей его – он сядет в гробу на кладбище, потребует ручку с бумагой. Запишет, отдаст потомкам и снова сложит ручки: – Закапывайте!

Яшумову было не смешно. Он просто устал от этого всего, устал!

– Всё, Глеб Владимирович, всё. Молчу.

Приехавший в издательство Восковой одет был безукоризненно. Щёголем поздних советских времён. Чёрный, как уголь, костюм, лакированные штиблеты, бабочка. В сопровождении небольшой свиты (Савостин, Акимов, Яшумов) он шёл по редакции. Вениамин Антонович Восковой. Глаза его были круглы и белёсы. Как большие монеты. Он энергично встряхивал руки сотрудников, не давая сотрудникам падать. Казалось, что он просто для знакомства здесь, напролёт. Однако у стола Зиновьевой и Плоткина остановился точно. (Впрочем, Савостин бежал впереди, направляя.)

Плоткин вскочил, пошёл крутиться волчком, тараторить. Не давал начальнику вставить ни слова. Да тот и не стремился вставить. Восковой мысленно вставлял Зиновьевой. Поникшей возле стола Зиновьевой. Этакой толстой тростинушке. Глаза начальника выкатывались: «Ах, хороша чертовка!» Плоткину между делом сказал:

– Я вас понял. Работайте. Задержки с типографией не будет.

И вновь пошёл. Теперь на выход. И опять перед ним раскрывались все двери. Швейцаром служил, опять забежал вперёд Савостин. И как на отливной волне – утаскивались, размахивали руками, пропадали Яшумов и Акимов.

Редакторы выдохнули напряжение, опали на кресла у сто-

ЛОВ.

– Тяжелая артиллерия Савостина в ход пошла, – сказал вдруг Колобов. Верстальщик редакции. Тихий парень. От которого и слова не по делу не слышали.

Все начали смеяться. Плоткин верещал больше всех, вдохновлял: хихихихихи, господа!..

В вагоне метро у Яшумова горело лицо, он сильно потел. Явно поднялось давление. В голове прокручивалась и прокручивалась, что называется, хроника спикировавшего в редакцию бомбардировщика.

Неожиданный визит Воскового – заведующего отделом культуры города! – в небольшое издательство мог показаться странным. Впрямую о Савостине начальник не сказал ни слова. В кабинете Акимова он говорил о грантах Губернатора в о о б щ е. Говорил банально, избито: «Мы должны пестовать молодые таланты, поддерживать их, давать им возможность издаваться, чтобы их творчество стало известно, так сказать, нашему народу и так далее». Надеялся на долгосрочное сотрудничество с издательством (это с маленьким-то? с малотиражным?). Савостин сидел у него за плечом молча, серьёзно. Как бдительный телохранитель. После пятиминутного монолога (всё о ней, о культуре родимой), Восковой вдруг встал и пошёл из кабинета. Молчком. Думали, в туалет. Нет – в редакцию. Савостин-телохранитель бежал впереди и раскрывал двери. Акимов и Яшумов сзади толкались, боялись отстать.

Ну а в редакции Вениамин Антонович энергично встряхивал руки вскакивающих немых редакторов, да потом только пялился на Зиновьеву...

Вспоминать обо всём этом было сейчас стыдно. Яшумов морщился. Будто наелся горького. Но помимо воли всё прокручивалось и прокручивалось дальше.

Видел себя на узком крыльце издательства. Среди провожающих. Чуть не падал с крыльца, когда махал со всеми Восковому. Который направился к машине Савостина. И тот, уже как шофёр и швейцар в одном лице, мгновенно забежал вперёд и раскрыл начальнику дверцу.

Перед тем как полезть в авто, Восковой махнул пару раз провожающим. Как дирижёр. Для запева. И трепетания рук на крыльце сразу резко усилились. И все действительно начали падать с крыльца. И Акимов, и Яшумов, и редакторы. А Восковой уже гнал вдоль канала, важный, откинувшийся на сидении.

Яшумов всё морщился от стыда, всё боролся с собой. На Яшумова внимательно смотрела девочка лет десяти, сидящая с нотной папкой напротив. У девочки были широко расставленные большие, как капли, глаза, на темени торчали две короткие витые косички.

Яшумову совсем стало кисло, нехорошо. Поднялся, пошёл к выходу. Хотя до его станции нужно было проехать ещё две.

Дома в прихожей устало раздевался. Сидел на банкетке,

снимал обувь. Опять не услышали, что пришёл, опять доно-
силось из комнат: «Да он же толком ничего не умеет, Жан-
ка! Вчера к твоему приезду заставила баньку покрасить. Об-
лезла вся. Так баньку – как попало. Зато всю морду лица
краской упатрал! Белой!» Ну сегодня, хоть слава Богу, не
обо мне, подумал Яшумов. Сегодня просто народное, веч-
ное. Всё в мою копилку: «Морду лица упАтрать».

Яшумов продолжил расшнуровывать кроссовок.

– Ты уже дома? – Традиционно. Привычно. И жена стоит,
и тёща выглядывает. Но продолжения «а мы не слышали» не
последовало. Вместо него – обе вдруг объединились в тре-
воге, в страхе:

– Что с тобой, Глеб?!

Яшумов снизу смотрел на жену и на тёщу. Он походил на
уставшую вечернюю зарю с двумя большими глазами. Пот-
ные волосы его слиплись. В чём дело, дорогие?

– Да ты же весь пылаешь! У тебя наверняка давление! –
Испуг, тревога жены казались неподдельными. Она схватила
мобильник с тумбочки (обычный яшумовский телефон не
признавала), уже тыкала кнопки. «Ало! Скорая?»

Тёща завертелась, исчезла. Через минуту прибежала с
большим тазом, полным горячей воды.

– Ну-ка, давай-ка твои ноги, зятёк. – Пыталась снимать с
зятя носки. (Тот не давался. Сам снимал.) – Ставь, ставь в
таз. Не бойся. Сразу легче станет. Я своего всегда так. Как
напьётся, как утром кумач – ставь, паразит, ноги в таз! Из-

вините.

До приезда скорой картина в прихожей напоминала картину в сельской избе – крестьянин (Яшумов) с засученными штанами после трудов дневных праведных парит ноги в тазу. И две женщины бегают, ему подливают.

Врач скорой сразу смерил давление: 180 на 100. Та-ак.

– Вы гипертоник?

– Нет.

– Значит, стресс. У вас угроза гипертонического криза. Нужно следить за собой. Давление меряете? Тонومتر есть?

Яшумов сказал, что был. Остался ещё от родителей, но где-то затерялся.

– Купите. И меряйте ежедневно.

Мальчишка-врач корчил из себя опытного диагноста:

– Это могут быть первые звоночки, (батенька). Галя, сульфат магния и тройчатку.

Сестра сделала Яшумову два укола, и он ушёл из комнаты, прилёг в спальне. Слышал, как врач давал наставления Жанне. Видимо, к выписанным рецептам. Потом хлопнула дверь и всё смолкло.

Анна Ивановна ходила на цыпочках. Поглядывала на дверь спальни с Яшумовым. Вот тебе и образованный. Интеллигент. А, Жанка?

Опять снился дикий сон – какие-то два представителя секс-меньшинств непременно хотели попасть в Статистику. На собрании жильцов дома всё время тянули руки. Как нетерпеливые школьники: «Я! Я! Глеб Владимирович! Ну пожа-алуйста».

Яшумов разрешал. Записывал их в блокнот. Для статистики. Только после этого два представителя вскакивали и начинали одновременно, захлёбываясь, говорить. Жаловались, что не находят понимания в подъезде. При свиданиях. Что их всё время гоняют. Они были точными копиями, клонами Савостина. В таких же подгузниках и с петухами на головах. Сам Савостин (клонированный или нет?) сидел тут же, рядом, нога на ногу. С презрением слушал гомосексуалистов. Не выдержал, заорал им: «Заткнитесь, педики несчастные!» И приказал Яшумову: «Записывай меня одного. Для статистики». Яшумов сразу пошёл куда-то. Собрание загудело. «Стой, гад! Вернись?!» – кинулся следом Савостин.

Яшумов дёрнулся, проснулся в темноте. Инстинктивно кинул руку на беременный живот жены. Точно схватился за горячий терапевтический аппарат. Для своего спасения. Жена сбросила руку, повернулась и захрапела в стену. Потихоньку поднялся, пошёл в туалет. «Господи, да когда же этот гад отстанет от меня!» – спрашивал под звон струи у тёмно-

го потолка.

Рано утром в спальне являл собой гипертоника-аккуратиста, который точно по часам меряет себе давление. Согласно предписанию врача. Манжета надета на левую руку точно по центру, на два пальца выше локтевого сгиба. Лицо гипертоника серьёзно. Он нажимает кнопку тонометра-автомата. Слушает гудение прибора. Гудение обрывается. Рука сжата манжетой. Гипертоник теперь слушает звуковые удары своего сердца и смотрит на меняющиеся цифры тонометра. Всё останавливается – 135 на 80.

Пожилая врач в поликлинике, которая лечила ещё его родителей, после всех прослушиваний, кардиограмм и анализов сказала: «У вас наследственная гипертония, с которой вы ходили и даже не подозревали о ней. Ваша мама была гипертоником. Передалось всё и вам. Придётся пить теперь таблетки. И боюсь, пожизненно. Соблюдать режим. И никаких стрессов. Что у вас случилось? Что вас так сразу заколбасило, как выражается мой внук». На длинноволосого, уже немолодого пациента смотрели старые выцветшие, всё понимающие глаза. Пришлось ответить этим глазам неопределённо. Да так, Мария Ивановна. Не говорить же всерьёз о первопричине всего – Савостине. Что некуда от него деться. Что болен им. Ведь сразу под руки поведут. В психбольницу.

Аккуратист аккуратно свернул тонометр и стал укладывать его в специальную сумочку. Жена убирала постель, косилась. «Не смерить ли тебе давление, дорогая?» Даже не от-

ветила. Тогда поднял молнию на сумочке. Не может забыть цену этого тонометра. Ну и таблетки теперь, конечно.

Каменская взбадривала кулаками подушку, прежде чем поставить её как надо. ФунтОм.

– Ты почему лягаться стал по ночам? Ты что, в живот хочешь меня пнуть?

– Да что ты, Жанна, – похолодел муж. – Не может быть. Это, наверное, побочные явления от таблеток. Завтра же схожу к Марии Ивановне. Чтобы поменяла лекарства.

– Ага. «Чтобы поменяла». Она будет только рада. Ещё на-выписывает кучу. Новую. (Таблеток.) Только плати.

Понятно. Жадность колпинки. Наверное, и с мамой уже всё подсчитали. Тонومتر пришлось покупать паразиту. Теперь вот постоянно таблетки.

– Жанна, я ведь на диване могу спать, в конце концов. Если стал так опасен.

– Нет, – сразу ответили ему. – Не надо на диване. Будешь спать здесь.

Тоже понятно. Крестьянский семейный кодекс. Кодекс чести. Муж всегда должен спать рядом с женой. Всегда. Испокон веку так было и будет в крестьянской семье.

Каменская саданула во вторую подушку кулаком и поставила фунтом рядом с первой. Вот так-то лучше. А то ишь чего удумал. От жены спрятаться...

На работе в обед между салатиком и котлетой Яшумов рассуждал о крестьянской патриархальной семье. О её тра-

дициях, обычаях. «Интересное, доложу вам, явление, Григорий Аркадьевич. Какая там иерархия в семье, какие чудные обычаи!» Видно было, что человек увлечён новой темой. Просто захвачен ею весь.

Плоткин чувствовал какой-то подвох, неправду в словах патрона. Осторожно сказал, что не знает крестьянского быта. В деревне никогда не жил, щей за общим столом не хлебал. Ложкой по лбу до команды «Таскай!» (мясо) не получал.

– Э не-ет, – смеялся Яшумов. – Там много интересного. Много всяких нюансов. Команду «таскай!» подаёт не просто абы кто за столом, а Старик, Иерарх семьи. Убелённый сединами. Только он один.

Плоткин с тревогой смотрел на веселящегося шефа. Свихнулся? Заболел? Смутно чувствовал какую-то связь всего услышанного с женой Яшумова, с Жанной Каменской. Та, вроде бы, тоже из деревни. Неужели там до сих пор кричат «таскай!»?

Яшумов ножом и вилкой изящно работал с котлетой и всё пел оды простому народу. Всё восхищался семейными традициями его. Где младшие всегда почитали старших. Где каждый знал свои обязанности, знал, что ему делать. Всё делали в хозяйстве ладно. Сообща. «Отсюда и возникло понятие «община», Григорий Аркадьевич. Да-а».

Плоткин не верил глазам своим. Яшумов, петербуржец, потомственный до мозга костей интеллигент, намерен пойти в простой народ. Полюбить его. Сравняться с ним. Чтобы

тоже лопать мясо после команды «хватай!».

Чудит наш Главный, чудит. Подпал под прямое влияние жены. И всей её тёмной родни. Точно. Обработали.

Плоткин искал свидетелей такому превращению патрона. Невероятному, дикому.

Рано утром сидел на кухне. С полным ртом слюней. Вчера жестоко вытащили и спрятали сигареты. Прямо из-под подушки. Не уследил. Доверчиво уснул. Сейчас в несчастной рукописи перед собой – не написал ни слова. Вот тебе и Юрий Олеша. Вот тебе и его «Ни дня без строчки». А ещё, главное, уверял всех, что это поможет держать форму. Хотя сразу сомнение берёт. Как можно сильно пить, опохмеляться каждый день и умудряться писать? Наверняка сплошные бичевания у Юрия Карловича каждое утро были. Хотел бы так, наверное, писать, хотел бы – дисциплинированно, упорно. Но опохмельная рюмка утром – и всё заканчивалось в ресторане. В ресторане Дома писателей. Где был завсегдатаем. И ушёл от такого завсегдатайства всего лишь в 60. Некоторые обвиняли короля метафор в дурновкусии, а порой и безграмотности. Однако всё же видел он и писал гениально. «Обезьянка прыгала, убежала как арка». Или «арки»? Писал смело. Не боялся выглядеть банальным, вычурным, смешным. Смело писал. Время было такое у пишущих. Один лучше другого. Ильф, Петров, Катаев. Не говоря уже о поэтах. Да-а, хорошее было время. А тут сидишь, слюну глотаешь – и ни строчки. Ни по Олеше, никак.

С тоской смотрел на раскрытую форточку. Хорошо бы пустить в неё дымного голубя. Этакого голубка. Да не одного,

а нескольких. Этакую дымную стайку. Чтоб летела она себе в ясное небо, пропадала...

Сглотнул. Хотел поискать в ведре хотя бы окурок. В спальне будто резко всхрапнул трактор: смотри у меня! Ида Львовна. И дальше себе засопела.

Так издеваться над сыном!

Не разговаривал. Никакого «доброго утра». В упор не видел серую ночную рубаху на кухне.

– Ладно. На. Травись.

Схватил пачку (зажигалка в руках), побежал на балкон. Прикурил. Окутался наконец дымом. Жадно дёргал. Нагнетал дымовую завесу. За стеклом наверняка наблюдали. Пустил за спину большого льва. На тебе, мама! Любуйся!

Во двор ворвался, заиграл как сабли сигнал Савостина. Рендж Ровера Савостина. Промчался, всё так же победно махаясь саблями. Вот ещё мерзавец. Откуда узнал, что здесь живу, откуда! Не иначе – выследил. Теперь вот и этаж будет знать. С дымящейся на балконе кочегаркой. Которая не успела даже заткнуться, спрятаться. Но куда погнал в такую рань? Да прямиком в редакцию! В редакции будет поджидать. Обработать, изводить Лиду.

В консервной банке задавил окурок, скорей в комнату, потом на кухню по-быстрому собрать рукопись.

– В чём дело? Что произошло? – шарахалась от бегающего сына Ида Львовна. Который уже прыгал, вдевался в брюки.

– А завтракать? А каша? Григорий!

– Потом, потом, мама. До вечера, пока.

И только мелькнула за сыном наплечная его сумка, чуть не прибитая хлопнувшей дверью...

...И всё же ошибся. Не было графомана в редакции – везде спокойные, внимательные головы у мониторов.

Здоровался со всеми, жал руки. Попытался опять прилгнуть к любимой щеке – какой там! – разом отпрянули. Понятно. Привычно уже. Не любит. «Ну как ты сегодня? Как ночевала? Как Ярик?»

Сел на простой стул. Придвинулся к любимой. Стали работать. Кромсать полотна Савостина. Тут же дописывать. Прямо Ильф и Петров. Смеялись. Спорили.

Вздروгнули – Савостин возник как приведение. Как будто вытаял из воздуха.

Плоткин не растерялся:

– Доброе утро, Виталий Иванович! С чем пожаловали сегодня?

– Вот, – подал исписанный листок автор: – Это я написал интимное про Артура. Прошу добавить на страницу 120.

Автор потупился, прикрыл своё «интимное» двумя ладонями.

Редакторы, словно в долгожданный, впились в текст. Как всегда написанный каллиграфическим почерком:

«Регина томно разделась и вся изогнулась. На ней были дьявольские трусики. Артур, потеряв голову, засмотрелся».

Первой отъехала от стола Зиновьева. Натурально. С ком-

пьютерным стулом. Укрылась у художника Гербова. И там тряслась. Плоткин изо всех сил держался. Смех глотал, давил где-то в желудке:

– Молодец, Виталий Иванович... Просто замечательно... Ёмко, зримо. Непременно вставим... да... гым... хым... хах-хах...

– Надеюсь...

Савостин с подозрением смотрел на меняющуюся морду Плоткина. Как Артур на меняющуюся морду клопа. Увёл взгляд. Сказал озабоченно:

– Я к Акимову.

Опоздавший Яшумов опять увидел всю редакцию веселящейся. Опять все смеялись. И дирижировал хором, конечно, Плоткин. Который, впрочем, при виде шефа сразу отмахнул, и все поспешно вернулись на свои места. Один компьютерщик Колобов продолжал заливаться в кресле. Точно привязанный. К немалому изумлению Главного.

– «Дьявольские трусики»... Глеб Владимирович...

– Какие трусики?

– Дьявольские... – всё прыскал, не мог остановиться Колобов. – «Он, потеряв голову, засмотрелся». Глеб Владимирович...

– Кто засмотрелся?

– Арту-у-ур... Хих-хих-хих...

Так. Понятно.

– Григорий Аркадьевич! Зайдите ко мне.

Плоткин метнулся к столу, схватил листок Савостина, побежал.

Через минуту главред сам хохотал. В потолок. Нет, бороться с плоткиными и савостинными невозможно! Просто невозможно!

В телевизоре у Жанны из большого автомобиля вытащили субъекта в длинном пальто. Заломили руки, припечатали лицом к стеклу дверцы. Размазали на стекле. Его женщина, оставшаяся внутри кабины – пугалась, не узнавала хахалю. «Спокойно, милая. Я в порядке», жевало на стекле слова неузнаваемое лицо любимого.

Фёдор Иванович не смотрел на телевизор. Фёдор Иванович, пригнувшись, самозабвенно хлебал мясной суп. Казалось, забыл обо всём на свете.

– Губы вытри, – толкнула жена. – Усуслился весь.

Яшумов тут же мысленно записал: «усуслился весь». «УпАтрался весь» – было. Теперь – «усУслился весь». Кладезь народных слов Анна Ивановна!

Фёдор Иванович смело взял две салфетки и вытер ими губы и щёки. Довольный, светился. Как пацан. Халява. Большая халява. Святое дело. И снова хлебал.

Между тем Анна Ивановна говорила дочери:

–...Ты была тогда ещё в гипсЕ. Помнишь? Во втором классе? Прыгала на одной ножке?..

Вот опять, – отметил Яшумов. – «В гипсЕ». Где такое ещё услышишь?

Неожиданно для себя шумно потянул с ложки суп. Как Фёдор Иванович. Даже звучней, ядрёней. С переливом.

Колпинцы бросили есть и раскрыли рты.

Яшумов тут же исправился: ложку в тарелку стал погружать от себя, не загребать ею, как Фёдор Иванович. Суп подносил ко рту плавно и глотал беззвучно. За столом – аристократ размеренно кушает.

Колпинцы перевели дух. Так пугать!

Яшумов опять попытался завести разговор о серьёзном, о «приданом маленькому». О красивой колясочке ему («Знаете, чтобы в цветочках была».) О ванночке для ежедневного купания, о градуснике для воды.

Силковы умудрялись не смотреть на будущего отца, хмурились. Анна Ивановна сказала только недовольно:

– Не надо этого делать.

– Да почему же! – пытался вывести её на дискуссию Яшумов.

– Не надо, и всё. Батюшка сказал.

– Какой батюшка? Где?

– В церкви! – неожиданно зло ответила тёща. (Пора бы это тебе знать, безбожник несчастный.)

– Ну хорошо, хорошо, – уже поднимал руки, сдавался Яшумов. – Когда батюшка скажет, тогда и куплю всё. Хорошо.

Поднялся, задвинул стул, поблагодарил. Пошел в спальню одеваться на работу. Неприятный осадок остался. Колпинцы чёртовы суеверные! «Батюшка сказал!»

С другой стороны: «Вы Господа нашли?» – «А разве он

потерялся?» Такой вот юмор. Полностью относящийся к атеисту-филологу.

Как-то, не пожалев времени, с экскурсией завёл Жанну в Исаакиевский собор. Во всё его высоченное великолепие. «Офигеть», – только и смогла пролепетать верующая колпинка. Сам экскурсовод-филолог только надувался. Как причастный ко всему этому богатству. Только золотых одежд (ризы) на нём и не хватало. «Смотри, дорогая, какая красота». – «Офигеть», – всё задирала голову туристка в мужских берцах и с индийской мотнёй, висящей меж ног. Не верила, что попала в сказку. Впрочем, так вели себя и остальные экскурсанты, больше провинциалы, которые просто онемели и, казалось, не слышали ни Яшумова, ни слов женщины-экскурсовода.

В вагоне метро вспомнились мама и папа. Как они относились к религии, к церкви. Икон в доме не было. Но мама иногда надевала длинное платье до пят, повязывала свои волосы тёмным платком (отчего голова становилась похожей на тугой султан) и шла к двери. Пятилетний Глебка думал, что гулять, радостно бросался. Но Надежда Николаевна мягко останавливала сына и, поглядывая на мужа, говорила, что идёт по делам. Погуляем, как приду. Владимир Константинович становился суетлив, отвлекал сынишку: «Мама идёт по важному делу. Мы ей не будем мешать». Глупый Глебка ничего не мог понять, что это за такое важное дело, что даже его, Глебку, не берут на него. Был ли отец тоже верующим

и отправлял жену в церковь как бы посланницей от семьи – от себя, от сына, или был атеистом и смотрел на веру жены снисходительно, терпимо. Хотя и в другую веру, в партию, тоже не вступил. Как ни манили, ни затаскивали.

Незаметно Глеб Владимирович стал смотреть на мужчину, сидящего напротив. Длинноволосый, как и Яшумов, тот сцепил пальцы на круглом животе, покачивался. Эдакий современный сытый малый. Но в бороде аж времён Ивана Грозного.

Сектант? Паломник? Тогда где у него посох и шляпа от солнца?

Перед выходом из вагона сектант толкал в спину. «Полегче, уважаемый. Я знаю свой путь». Сектант не смотрел в глаза, был недоволен Яшумовым.

Глава девятая

1

Владимир Константинович Яшумов сказал когда-то сыну: «В старости, Глеб, человек становится своей пародией. Брежнева хотя бы вспомнить. наших многих известных артистов. Надо вовремя уйти со сцены. Не позориться. Не появляться нигде, не мелькать, не маячить в телевизоре. Всё, ты ушёл, отыграл своё, тебя нет. Но, к сожалению, в конце дней своих тебя наоборот начинает распирать от своей значимости, от былых заслуг. От былой известности, от аплодисментов...»

Яшумов вспомнил эти слова отца в кафе, случайно глянув на тихо работающий, никому не мешающий телевизор, где в яркий свет многолюдной студии вывезли на коляске радующегося, машущего ручками старичка, в котором трудно было узнать бывшего сверхпопулярного артиста. Его, как неумолкающую говорливую игрушку, сын совал с коляской к таким же старикам и старухам. Тоже артистам. По очереди. И те обнимали коллегу, плакали. Но старичок не плакал, старичок радовался. Сын всё вертел его с коляской. Теперь к восторженным зрителям студии. А старичок будто сам вертелся, даже без помощи сына, и всё размахивал ручонками,

посылал воздушные поцелуи. Это был его звёздный час. Он дождался его.

Сразу вспомнился ещё один глубокий старик. Писатель, корифей петербургской литературы. Того с ключечкой вывела в наградной тронный зал то ли молодая жена, то ли старая его дочь. Где он должен был получить награду от самого Президента. Как раскачивался он, уже стоя на месте, умирал. Словно не выдерживал тяжести золотой медали, навешенной на него президентом. Так и умер, наверное, потом дома, придавленный дорогой наградой.

Вспоминать всё это было сейчас больно, тяжело. Яшумов забыл про еду, не понимал Плоткина, который тоже, казалось, поймал свою волну, свой звёздный час – и всё смеялся, и всё балагурил:

– ...Небезызвестный этот портал, Глеб Владимирович – это цитадель, это оазис для всех изголодавшихся графоманов. Слетелись туда со всей России. Более трёхсот тысяч авторов! Более девяти миллионов текстов! Кого там только нет! Пиши как угодно, что угодно. Всё принимает портал. Всякую галиматью, белиберду. Детский лепет, бред сивой кобылы, штанишки на лямках. Всё там есть. Всё графоманское богатство России собрано в одном месте. Но что удивительно, Глеб Владимирович, – Савостина там нет. Ни с Артуром, ни с другими опусами его. Вы можете такое представить! Савостин – и нет его на этом ресурсе. Не верится, что он не знает о нём. Но нет – и всё.

Главред никак не мог сосредоточиться на словах ведуна. Даже Савостин пролетел мимо незамеченным. А Плоткин не умолкал, размахивал вилкой:

– Причём крепкая настоящая проза там не приемлется, отторгается. Вы знаете, как пишут наши Галя Голубкина и Миша Гриндберг. Год-полтора назад они оба были на этом ресурсе. Были! С надеждой разместили свои повести, рассказы. Так за всё время, что провисели там – читателей набрали только по два-три десятка. И ни одной рецензии не получили. Ни хвалебной, никакой. Графоманы просто не поняли их, не осилили. Но почувствовали, что это чужаки и добра от них не жди. Там интересный порядок в статистике прочтений. Если открывают твою вещь, то у тебя в статистике отображаются фамилия и имя открывшего, и ты можешь перейти на его авторскую страничку. Он так приглашает тебя. Мол, и ты меня открой и прочти мои величайшие творения. И похвали. Галя и Миша сначала честно открывали эти предлагаемые авторские странички и добросовестно читали там одно-два так называемых произведения, но ничего в них стоящего не находили и, как люди честные, хвалить не могли. То есть они оказались на портале чужаками. Изгоями. Так и не понявшими единственного правила графоманов портала – ты всегда хвали меня, тогда и я похвалю тебя. Поэтому вскоре удалились оттуда, закрыли свои странички.

– И что же, никого там стоящего нет? – уже пришёл в себя Яшумов.

– Почему же. Наверняка есть и настоящие писатели. Но их единицы. И они потонули в этой серой массе. И их никто не знает.

На улице Плоткин всё не мог успокоиться, забыть про «этот портал»:

– Признаюсь, Глеб Владимирович, я тоже был там. (Яшумов удивился.) Да, каюсь, был. С повестью и двумя рассказами. Конечно, читателей – кот наплакал. И ни одного отзыва. Тогда я сам начал громить графоманов. Писать короткие рецензии на особо захваленных. Так сказать, начал разоблачать голых королей. Меня терпели недолго. Забанили мою страничку. Как страничку опасного террориста. Взбаламутившего болото. Вот такой мой горький опыт. Забанили, заткнули рот. А, Глеб Владимирович? Не дали развернуться, а? – уже смеялся кучерявый террорист.

В редакции – сразу Савостина увидели. Лёгкок на помине! Плоткин тут же подлетел к нему и громко спросил, надеясь на спектакль для всех:

– Виталий Иванович, вы знаете про всемирно известный портал.... (Портал был назван).

– Ну знаю. И что?

– Так почему ваших произведений нет на нём?

– Ещё чего! Среди графоманов-то? В эту кучу дерьма? Я печатаюсь во всемирно известной библиотеке. Этого. Как его? Горшкова. У меня там 10 тысяч скачиваний! Моего Артура читает народ! А вы никак не можете с ним управиться.

(Расправиться, наверное?)

Плоткин затряс автору руку:

– Молодец, Виталий Иванович! Просто молодец! Так держать!

Автор, встряхиваемый редактором – сердито смущался:

– Да ладно. Чего уж теперь. Раз народ признал. Давайте, работайте. Гоните Артура в народ.

Сотрудники отворачивались, прятали смех. Один верстальщик Колобов откровенно безнаказанно смеялся. Колотился прямо в кресле.

Но что там Колобов какой-то. Что он понимает? Народ признал!

2

Плоткин в воскресенье с утра решил соответствовать встрече. Поэтому надел и явился к Зиновьевой и Ярику в модных джинсах. С дырами на коленях. Как будто собаки рвали человека, а он еле отбился.

– Ну, вот и я. Как вы, мои дорогие? Готовы?

Сегодня *своих дорогих* Плоткин решил поразить. Намерен был повести в музей. В Музей печати. Ярик запрыгал, хотя и не представлял, что это такое. Однако Зиновьева даже пропустила мимо слово «музей» – во все глаза смотрела на голые коленки любимого.

Уже хмурилась, сердилась. Ей что, тоже закосить *под джинсу*. Какую-нибудь джинсовку надеть с цепями, с колоколами?

– Ну и зачем ты вырядился так? А?

– Но позволь! Ты же тоже будешь по-молодёжному – в кофточке с плечом?

– Да кто тебе это сказал! Господи! – говорила уже из спальни Зиновьева. Где из противоречия какого-то надевала свой самый строгий женский костюм. Костюм переводчицы, секретаря, менеджера среднего звена корпорации.

В Музее печати Плоткин несколько смущался своего вида, но кое-где ходили такие же оборванцы, и парни, и девичьи, и Плоткин успокоился – он в бренде.

Зиновьева с сумочкой и в строгом своём костюме всё время стремилась как-то в сторону от оборванного. Помимо воли. И Ярика за собой тащила. Но джинсовый догонял и направлял, куда нужно. К нужному экспонату. Чёрт знает что! – спотыкалась женщина на высоких каблуках.

В довольно большом зале с четырьмя окнами ничего не могла понять среди старинных расставленных чугунных монстров. В виде паровозов и железных высоких арф. Ярик всё время кидался к гильотинному ножу для обрезки книг. Пытался орудовать им. Приходилось уводить и тихо внушать.

Наконец вышла экскурсовод с белым бейджем на кофте. Посетители сразу окружили её. И оборванцы, и нормальные люди. Экскурсовод останавливалась у какого-нибудь станка и рассказывала его историю, как и положено, показывая указкой на железные детали. Ярик притих. И даже оборванец рядом потупился.

Через какое-то время женщина с бейджем ушла, и все опять стали бродить сами по себе. Ярик кидался к ножу – приходилось оттаскивать.

Зиновьеву тронули за плечо:

– Здравствуй, Лида...

Кирилл Кочумасов! Глаза выкатываются, сдохшие муравьи будто ожили. Ползают по лысине!

– Лида, я хочу... ты не имеешь права... ты не должна... я отец... слышишь?.. ты обязана нас познакомить... я имею

право... Лида!..

Зиновьева беспомощно оглянулась. Плоткин и Ярик всё боролись с гильотиной.

Женщина уже пятилась, вырывалась. Плоткин увидел, подбежал:

– В чём дело, гражданин! (Прямо милиционер, современный полицейский.) Вы что это себе позволяете в музее!

Кочумасов во все глаза смотрел на плюгавенького мужичонку. На мужичонку в рваных джинсах. Рядом с хорошо одетой Зиновьевой. И это твой избранник? Твоя любовь? Кочумасов не видел даже сына, держащего плюгавенького за руку. Повернулся, пошёл из зала. С лысиной сзади загорелой – как пятак.

Тоже вышли на набережную. Мать и сын молчали. Музейные печатные машины обсуждать не могли. Плоткин воочию увидел полярника папу. Однако – делал вид. Уже тащил в кафе неподалёку. Мороженое от души! Тархун! Джазок из колонок! А, мои дорогие? Скорей за мной!

Через неделю, тоже в воскресенье, оставили Ярика с Идой Львовной смотреть телевизор и есть всякие вкусняшки. А сами по-быстрому вернулись обратно в квартиру Лиды.

После индийского кино в прихожей и спальне – голый лежащий воин сказал:

– Он ведь не отстанет, Лида. Так и будет преследовать... вас... (Сказать «преследовать н а с»), язык не повернулся.)

Зиновьева безотчётно перебирала волоски на грудке вои-

на.

– Нет. Он трус. Будет только выглядывать из кустов.

Непонятно было: в осуждение это она сказала или с сожалением. И опять же, а как он, Григорий Плоткин? Как же быть с ним, в конце концов? Куда его девать, черт побери!

Поздно вечером, после того как отвёл Лиду и Ярика в их квартиру, висел на чугунной огородке над каналом, окутывался дымом. Никуда не хотелось идти. Ни домой, ни обратно к Зиновьевым. Посмотрел на кафе, где были неделю назад. Но оттуда уже выдавливали всех наружу.

Хотелось плюнуть вниз, в дрожащую луну. Не посмел. Пошёл домой так. Со слюнями.

Ночью долго не спал. Всё вспоминал инцидент, случившийся в музее. Стычку, сказать по-русски. Себя, – трусливого, но духарного, всё ждущего, что прилетит в лицо кулак. Железную надувшуюся Зиновьеву, которую, казалось, ничем не прошибёшь. Смущённого до слёз, не знающего, куда деваться мальчишку, который давно догадался, давно всё знал про полярника папу...

Плоткин прошептал, засыпая: «Бедный пацан... С такой матерью...»

3

– ...А ты похвали его, доча, сперва, похвали. А уж как он поплывёт, ты тут его и прищучишь. Да. Похвали его, доча, похвали, не бойся...

– Хватит, мама, хватит!

Беременная доча ходила по спальне, хватала какие-то тряпки. Ямочки возле губ резко означились на злом лице. Как при доброй улыбке. Это всегда пугало Анну Ивановну. Господи, опять как гангстер на деле. В весёлой маске...

Доча, уже присогнутая, налаживала на себя широкий пояс. Как будто плохо обученная лошадь. На поясницу и большой живот. Сбруя не налаживалась, съезжала. Мать бросилась, стала помогать.

– Я тоже, когда тобой ходила, напяливала такую же. Только та красивше была. В цветочек и с застёжками.

Из прихожей послышался телефонный звонок. Никак не ожидаемый женщинами.

– Ответь, – сказала дочь.

Анна Ивановна на цыпочках побежала и сняла трубку:

– Слушаем.

Сперва ничего не могла понять. Но дошло. Из Германии. Эта, как её?

– Поняла, поняла. Сейчас. Кто я? Я мама. Сейчас позову. Так же на цыпочках прибежала. И сообщила дочери. Чуть

не на ухо:

– Там эта. Из Мюнхена. Глеба требует.

Не надев толком пояс, Каменская заспешила в прихожую, схватила трубку:

– Да, Алёна Ивановна! Здравствуйте! – И тоже напряжённо слушала далёкий голос.

– Я вас поняла, Алена Ивановна, поняла. Но он с час как ушёл на работу. Звоните ему туда, он должен быть на месте. – Вдруг осмелела: – Когда вас ждать к нам в Питер на гастроли, Алёна Ивановна? Мы все... все заждались вас!

Иванова будто не услышала слов Каменской:

– Глеб мне звонил – вы ждёте ребёнка. Милая Жанна, берегите себя, не переживайте попусту, хорошо питайтесь, гуляйте на воздухе. Глеб всегда будет рядом с вами... поможет... во всём... – Голос женщины вдруг начал прерываться, и она замолчала. – ...А с гастролями вряд ли что получится... У меня изменились обстоятельства... Всего вам доброго, милая Жанна. Берегите себя и ребёнка.

Каменская на аппарате заглушила гудки.

– Странная она какая-то сегодня была – говорит, а сама словно бы плачет...

Женщины онемели. Одна с забытым поясом набок, другая опрятная вся, но тоже как перекошенная...

Яшумов сидел плечом к плечу с Галиной Голубкиной. Окончательно подчищали её рукопись, чтобы отдать потом Колобову для его работы – сверстать весь текст и создать ма-

кет книги. Ну а дальше уже всё напрямиком в типографию.

Яшумов показывал карандашом на свои помеченные исправления. Молодая женщина с простым деревенским лицом сразу склонялась к указанным словам. Как к совершенно незнакомым ей словам, как будто не ею даже написанным. Голова с плоским незатейливым пробором волос застывала. Женщина думала. И говорила: я согласна («Согласная я!»).

Яшумов переворачивал две-три страницы, и снова втыкал карандаш. И женщина опять читала незнакомые слова.

Включилось и заиграло белое солнце на мобильнике Яшумова. Под солнцем – название солнца аршинными буквами: АЛЁНКА.

Яшумов схватил телефон:

– Да, Алёна, да! Здравствуй, родная!

Далёкая женщина поздоровалась и сразу заплакала.

– Что такое, что? Что случилось? – Делая Голубкиной большие глаза, Яшумов двинулся в коридор и закрыл за собой дверь.

– Что, что произошло?

– Дитрих... Дитрих умер... Глеба...

– Когда? Как? Отчего?

– Вчера... – всё плакала женщина. – Утром... на репетиции... стало плохо... упал... без меня... мне нужно было позже... на час... пришла, а его уже выносят на носилках... мёртвого... Глеба!..

Яшумов что-то бормотал, успокаивал. Говорил, что при-

едет. Прилетит. Ближайшим же рейсом! Алёна!

Но женщина уже не плакала, говорила, видимо, вытирая слёзы:

– Нет, Глеб. Не нужно тебе лететь. Извини, что позвонила. Что грузу тебя. Но у меня нет ближе тебя никого. А друзей здесь у меня нет. Всех оставила, растеряла в России. Извини меня, дорогой. И на наш с тобой телефон зря позвонила. Думала, что ты ещё дома. Жанну только взбаламутила. Не говори ей ничего о смерти. Это ей не нужно совсем. В её положении. А уж я как-нибудь сама...

Женщина опять заплакала:

– Упал, Глеба!.. Мне рассказали... Прямо со скрипкой... На пол... Все вскочили. Никто не знает, что делать... А он лежит... на полу... прямо на скрипке... Как разбитое сердце своё зажал. Спрятал от всех! Глеба!..

– Ну успокойся, нельзя так, не надо, Алёнка, я же хотел, я всегда, не надо, прошу тебя...

Держал погасший телефон перед собой, словно не верил услышанному.

Голубкина при виде главного редактора поднялась со стула – лицо Глеба Владимировича было белым, а нос-картошка красным.

– Глеб Владимирович, у вас несчастье?

– Да, Галя, несчастье, – сел за стол, ничего не видел на нём Яшумов. – У близкого родного мне человека. Сегодня давайте отложим, Галя. Завтра. Завтра с утра приходите.

Голубкина взяла свой блокнот и ручку, сказала «до свидания» и тихо вышла.

Однако почти сразу возник в дверях Михаил Гриндберг. Похожий на гордого орла в очках. С папкой под мышкой.

– Завтра, Миша, завтра приходите, – поднял бессильную руку Яшумов.

Гриндберг сразу потупился. Стал орлом застенчивым. Удерживал папку обеими руками. Лапами. Внизу живота.

Ни слова не сказав, попятился. Пропал.

Вечером опять стоял Яшумов на мосту о четырёх львах. В культовом своём месте. Куда приходил и в радости, и в печали. Всё так же проносились внизу вспыхивающие пузыри. Окна вечерних домов походили на теплящиеся могилы.

Жалко было Алёнку до слёз. Бедного Дитриха её не знал, не видел, ни разу не разговаривал даже по телефону. Родители его были то ли из Поволжья, то ли из Казахстана. Может быть, поэтому парень мало походил на расчётливого немца. Не лез никуда, не копил, не делал карьер. Лет пятнадцать назад, как прошёл конкурс в оркестр на третий пульт первых скрипок, так и просидел за третьим пультом, не стремясь подняться выше. Хотя скрипачом, по словам Алёны, был сильным, и мог бы стать концертмейстером оркестра. Не случайно, наверное, они нашли там друг друга. Оба с несмыслимыми клеймами пожизненных русаков. Хотя были и другие охотники на концертную денежную корону Алёны Ивановой. Были. И в самом оркестре, и вокруг него, в музыкаль-

ной тусовке. Но – нет. Дитрих. Простоватый, не практичный, по мнению настоящих немцев, малый. Большая квартира в Мюнхене с неба ему упала. Не от родителей даже с Поволжья – от двоюродного деда. По завещанию. Настоящего немца. Крупного предпринимателя. В его квартире, как оказалось, очень страдали потом молодые муж и жена, когда потеряли свою дочку. Которая родилась больной и года даже не прожила. О здоровье самого Дитриха Алёна не говорила. Может быть, и вполне здоровым был. И вот – умер. Умер в одиночестве...

Яшумов всё смотрел на бегущую воду. На отражённую, слезящуюся на воде луну...

Дома в кухне была только Анна Ивановна. Как всегда не услышала хлопнувшей двери. Однако воскликнула:

– Ой, смотрите скорей! Животики надорвёте!

В телевизоре Жанны (без Жанны) хозяйничали старые барбосы и болонки с кудельками. Артисты давно погорелых театров. Словно с боем прорвались они в телевизор Жанны. Что-то там вещали, смеялись от своих же шуток, веселили молодёжь в студии.

Потом один барбос и одни морж с усами предались сладким воспоминаниям. «А помнишь, как он... А помнишь, как она...»

И опять тяжело было смотреть. Господи, ну зачем вылезают, зачем? Ну сидели бы дома, с внуками, с правнуками. Выращивали бы цветы. Какую-нибудь картошку. Но – нет.

«Снова туда, где море огней». Словно из последних сил. На костылях, на колясках. Обгоняя друг дружку. Отталкивая. «Будь смелей, акробат!» Господи-и.

Яшумов сидел перед оставленной ему едой, прикрытой полотенцем. Потом снял полотенце, стал есть. Даже не помыв рук. Коротко, дико улыбался теще, когда та со смехом поворачивалась. Мол, тоже животики надрываю, не беспокойтесь.

Пришла из ванной жена. В махровом халате, с султаном на голове. Мазала руки кремом. Молча взяла пульт и прекратила безобразие в своём телевизоре. Не обращала внимания на замахавшую ручками мать.

Спросила у мужа:

– Дозвонилась до тебя Алёна Ивановна?

Муж сказал, что дозвонилась.

– У неё что-то случилось? Она в порядке?

Хотелось сказать «она в полном порядке». Сказал:

– У неё умер муж. Дитрих.

– Да ты что! Как? Когда? – Чувствовалось, что женщина испугалась за Алёнку. Сама напугана, не верит.

– Вчера. В одночасье.

Яшумов коротко рассказал обо всём случившемся. Пошёл к себе. В кабинет.

Дочь и мать замерли. Опять.

Анна Ивановна оживилась:

– А как это – «прямо за пультом»? Доча? На электростан-

ции, да? Электриком он?

– Оставь, мама!

...С утра на планёрке опять наехал Купцов. Опять при всех опустил. Поэтому дождался обеда, примчал Пшёнкину к себе домой, установил и жёстко отымел. Стало легче.

Лежал руки за голову. Толкнул застывшую любовницу:

– Да ляг ты, ляг! Мало, что ли, тебе?

Пшёнкина на коленях медленно повалилась. На бок.

Подтянул ноут, хотел в игре изничтожить Купцова. Догнать – и взрывами, взрывами: на тебе, гад, на!

Вдруг увидел в работающем телевизоре Яшумова и Акимова. (Что за хреновина!) Сидят где-то на сцене, за столом, только двое, а перед ними головы с затылками рассыпались.

Бросился, схватил пульт, дал звук:

– ...Наряду с известными авторами, о которых я вам рассказал, в этом году у нас будет широко представлена и талантливая молодёжь. Голубкина Галина, Гриндберг Михаил...

Анатолий Трофимович больше молчал, а говорил длинноволосый козёл. Всё нахваливал Гриндберга и Голубкину.

Пшёнкина уже прилипла к боку. Пояснял ей:

– Счас, счас! Обо мне будет говорить. Смотри, слушай!

Но козёл за столом, оказывается, уже пошабашил. Уже складывал бумаги. О «Войне Артура», об авторе «Войны Артура» ни слова, ни звука. Это как?

Анатолий Трофимович придвинулся к нему и что-то сказал тихо. Но тот только плечом передёрнул: дескать, отстань.

Тогда Акимов не растерялся, взял микрофон в свои руки и сам начал говорить в него:

– Глеб Владимирович забыл упомянуть ещё одного нашего молодого автора. Это Виталий Савостин с романом «Война Артура». Обязательно обратите внимание на дебютный роман этого талантливой перспективного автора.

А козёл, главное, надулся и продолжает собирать свои бумаги и книги на столе. И ни слова в поддержку Анатолию Трофимовичу. Вот гад так га-ад.

Пшёнкина Валентина поняла только, что двое эти из издательства Виталика, но кто из них кто – не разобрала. Поэтому просто успокаивала:

– Ерунда, Виталик, забей, прорвёшься.

Но любимый уже не смотрел на экран. Мрачный, сидел на стуле и качал большую гантель. Качал, как небывалой силы и веса свой прибор. Готовил себя к чему-то.

Залюбовалась...

...Из Дома книги Яшумов и Акимов вышли врагами. Акимов кипел:

– Как вы не можете понять, в конце концов! Савостин – это Восковой. А Восковой – это губернатор. Все наши гранты, пресс-конференции – это из-за Савостина. Через него. Никакие ваши гриндберги и голубкины не получили бы ни черта! Если бы не он. А? Неужели это трудно понять! Он же

выигрышный наш билет. С ним мы попали в струю. Восковой выделил нас из десятка таких же издательств. Издыхающих. Неужели трудно понять это!

Яшумов молчал.

– Ну чего вы взъелись на него? Чем он хуже вашей Голубкиной? Чем? Тем более Плоткин его причесал. Сказал мне, что книга пойдёт, будет даже иметь какой-то успех. А?

Яшумов сказал наконец:

– Извините меня. Я не могу поддерживать графоманов. Не могу переступить через себя. Знаю, что мне придётся уйти из редакции... но не могу... Извините.

Яшумов повернулся. Поддёрнул тяжёлую сумку на ремне, набитую книгами, пошёл.

Акимов тоже пошёл. В другую сторону. Ругался. Матом. Нет, к е... матери из издательства! Плоткин подойдёт. Плоткин будет плясать как надо. Только Плоткина теперь.

Акимов не замечал встречных людей. Ноги, как чужие, ставились неуверенно. Давление давило голову. Из-за этого упрямого придурка. Вытирался платком. Нет, ты посмотри какая дубина! «Не могу переступить!» Я тебе покажу...

В редакции все видели пресс-конференцию. По окончании её сразу поняли, что Главный может пострадать. И серьёзно. Плоткин уже метался, срочно сколачивал группу. В защиту главреда. Все уже помахивали кулаками. Предварительно. Репетировали. Не дадим в обиду! Не позволим!

Сразу окружили Яшумова, как только тот появился. Ну,

как, Глеб Владимирович? Как? Рассказывайте!

– А что, собственно, господа? Мы представили вышедшие книжки и сказали о молодых. Вот и всё.

– Ну как же, как же! – наседал Колобов-программист, в последнее время ставший слишком активным. Как забытое всеми магнитное поле. – Вы же припечатали его. Ну Савостина. К позорному столбу. Вы же дёрнули плечом!

– Это вам показалось. Всё прошло хорошо... Работайте, господа, работайте.

Главред пошёл в кабинет.

Не поверили ему. Всё берёт на себя. Все удары. Как всегда. Никого не хочет подставлять. Точно.

Плоткин не выдержал, побежал к Акимову. Один. Долго доказывал:

– ...На нём же вся редакция держится. Он же редкий профессионал. Где вы найдёте в наше время такого, как Глеб Владимирович? Где?

– Дурак ты, Плоткин, честное слово. Я ведь тебя поставлю вместо него. Неужели не понял?

Плоткин побледнел:

– Да вы что! (В своём уме?) Да я же сразу уйду. И вся редакция уйдёт со мной! (Если посмеете тронуть Главного.)

Акимов смотрел на дурака. На редкого. На дурака еврея.

– Ладно. Я ничего не слышал от тебя. Иди работай. И всем скажи. Защитники нашлись...

Плоткин выпал прямо в объятия группы. Ну, ну! Что он

сказал, что!

– Порядок. Теперь не посмеет. Пришлось сказать ему. Пару ласковых.

Повели как героя. Словно бы в цветах, в аплодисментах. («Ура! Наваял Пузырю!») Повели в пустую редакцию. Где осталась только Зиновьева. Как всегда. Возле стула торчала. Схватившись за него. Штрейкбрехерша чёртова!

Между тем Яшумов будто и не подозревал, какие страсти кипят вокруг его имени. Довольно спокойно сидел у себя, решив ещё раз подправить рукописи Голубкиной и Гриндберга. Любимцев своих. Оставить память о себе. Перед тем как окончательно вышибут из издательства.

Дома вечером удивился – его встретили предупредительно и даже с почтением. В гостиной был накрыт стол. Анна Ивановна и Жанна, приодевшись, сновали вокруг салатов и расставленных приборов.

Фёдор Иванович тоже был в новом костюме. Однако встретил зятя почему-то задрожавшим голосом:

– Молодец, афганец. Видели тебя. В телеке. Хорошо жажнул.

Фёдор Иванович отвернулся и даже смахнул слезу.

– Ну-ну, Фёдор Иванович, успокойтесь.

– Бл-хх! – спрятался на груди у зятя Фёдор Иванович.

Глаза устали читать. Снял очки и сдавил двумя пальцами переносицу. Так всегда делал отец, чтобы взбодрить зрение. А читал он много. И свои работы, и работы коллег. Без очков веки его были красными. «Вот, полюбуйтесь, Куриная Слепота пришла, за стол садится», ругалась мама во время обедов. Сразу подсовывала ему морковный сок. И сама постоянно натирала и отжимала морковь, и Арину Михайловну заставляла. «Куриная Слепота» посмеивался, но безропотно пил. Помогало это мало. В последний год свой стал видеть совсем плохо. Но всё равно умудрялся читать. С толстой линзой у склонённой головы походил на глубинную рыбу с большим глазом. Что-то там рассматривающую на дне. «Могила исправит», говорила с досадой жена. Могила «исправила».

Привычно Яшумов осматривал стол, за которым сидел. Стол отца. Реликтами остались на нём только пересохший пластмассовый плоский прибор с двумя чернильницами, перо-вставочка (отец писал, исключительно макая им) и мощное пресс-папье. Былого тотального отцовского порядка на столе давно не осталось. Теперь здесь царил полный бардак. Бардак сына. Найти в котором нужное было сложно. Частенько ругался непонятно на кого, перекидывая папки и листы.

С тоской смотрел на гения порядка. На портрете на стене. Где тот был снят в мантии и квадратной шапочке с кисточкой. Где он смотрел свысока. Как кронпринц науки, по меньшей мере.

Умер бедный во сне. «Без проблем», как тихо сказала закаменевшей матери на поминках подруга её, виолончелистка Кургузова. «Он ведь гипотоник у тебя был. А гипотоники живут долго и скверно. Вот Бог и пожалел. Прибрал потихому. Без проблем».

Покоробило тогда от услышанного. И это сказала верная подруга матери. С буреломом на голове, прихваченным чёрной повязкой. Но мама, походило, не услышала её слов. Вся в черном, сидела отрешённо. С остановившимся взглядом. Никого не видела за столом. Ни стареньких профессоров, которые, казалось, пришли на поминки только для того, чтобы тоже дожидаться своего часа, дожидаться на людях, ни их вечно надутых обиженных жён, ни молодых голодных аспирантов, которые хорошо налегали на водку и закуски после промозглого кладбища...

В отличие от отца, мама никогда не носила очков. Даже в старости. Хотя слово «старость» вряд ли ей подходило. Работала в оркестре до последнего своего дня. До последнего своего часа. Умерла, как и муж. Только не в постели, а в гримёрной за столом. Точно уснула на нём на своих руках. Рассыпав ноты оркестра, которые не успела раздать. Сама в концертном платье, с диадемой в волосах...

Кларнетист Коцев рассказывал потом Яшумову, как всё та же Тамара Кургузова пыталась оживить подругу. Сразу упала на колени и стала толкать в грудь, дуть в рот. Но всё оказалось бесполезным – Надежда Николаевна лежала бесчувственной куклой, и упрямую плачущую Кургузову просто оттащили от умершей... Все стояли над Надей и не верили, что она умерла... Ну а потом, как всегда с опозданием, примчалась скорая. Врач которой только констатировал смерть...

Забыв про книгу, которую читал, про очки в левой руке, Яшумов смотрел на портрет матери, висящий неподалёку от отца. Глаза заволакивало туманом. Достал платок, протёр глаза.

Надежда Николаевна была снята фотохудожником в полуанфас. Склонённая голова, глаза задумчиво смотрят перед собой. Раньше казалось, не музыкант даже, не скрипачка задумчиво смотрит – женщина-поэтесса. Ахматова по меньшей мере. Цветаева обдумывает свои стихи... Теперь при взгляде на портрет виделось другое – мама давно смирилась с судьбой, думает о неизбежности своей смерти, чувствует её приближение...

Снял очки, опять вытирал глаза.

Потом Яшумова позвали ужинать, и он сидел за одним столом среди чужих людей. Которые давно хозяйничали в его доме, давно, как сами говорили, «прописались» в его квартире. Вполуха слушал «надравшегося» сегодня тестя,

который бахвалился, какой он справный, хозяйственный мужик, купил целый баллон краски всего за 200 рублей. И кисть малярную вдобавок выцыганил. Слушал хитренькую тещу, у которой только одна задачка: раскрутить пентюха-зятя по полной, и всё для любимой дочи, для будущего своего внука. Смотрел, наконец, на свою любимую. Самодовольную, самовлюблённую женщину, которая, казалось, никого никогда не любила и вряд ли полюбит. Правда только если будущего своего ребёнка.

Опять возникала риторика без ответа: что было бы, если бы мать и отец вдруг внезапно воскресли и увидели этих людей за своим семейным столом? В своей квартире? И сына вместе с ними? Одобрели бы они такой уход его в народ?

– Что приуныл, афганец? Пер... веселей!

Ночью держался за живот храпящей жены как за спасительную гору. Как за Афон, по меньшей мере. Будто отступник, который страстно хочет вернуться на праведный путь.

Из коридора в поддержку ему бомбил апостольский храп, перемежающийся со всхлипами и верещаниями ангела.

Утром Яшумов раздольно, эпически пел, аккомпанируя себе на пианино:

...По диким степям Забайкалия...

Призывал, дирижировал остолбеневшим колпинцам одной рукой. Ну же, пойте:

...Эгыде золото роют в гора-ах...

Съехал. Точно. Слетел с катушек!

Глава десятая

1

«Не-ет! – опять кричал во сне Яшумов. – Я не Почта Банк! Я редактор Яшумов! Не-ет!» Но братки из 90-х подступали: «А почему ходишь в куцем пиджачке и ноги ставишь циркулем, типа буквой Хэ? А? Отвечай!» «Это он! Он! – кричала толпа обманутых вкладчиков, размахивая депозитами. – Он, гад! Почта Банк! Поработайте с ним, пожалуйста, поработайте! Как он с нами!» И братки начали работать. Работать на совесть. «Не-ет!» – всё кричал, вырывался Яшумов. Он же – Почта Банк.

Толпа через какие-то мгновения – отхлынула: Почта Банк был весь в лохмотьях, в резаных лентах. Он плакал: «Гады, я не Почта Банк...» И голые ноги уже не стояли циркулем. Были тонкими, жалкими. Братки отворачивались. Не могли смотреть на него. Им было стыдно. Такой косяк!..

Яшумов вскинулся на постели, сел. Жанна храпела, охватив живот обеими руками. Как будто недовольно выговаривала животу. Осторожно тронул за руку: «Повернись на бок». Не выпуская живота, повалилась лицом к стене. Заговорила в стену. Теперь как будто Яшумову выговаривала. Что он потревожил живот. Яшумов медленно лёг на спину.

Шёл ноябрь месяц, последний месяц беременности жены. Уже подходил, надвигался день и час икс. Яшумов не мог представить, что будет делать, как вести себя в этот день и час. Душа обмирала. Одна надежда на Анну Ивановну. Которая посвистывает себе сейчас из коридора. Свободной пташкой. Без баса своего профундо. Которого всё время отправляет в Колпино. *На хозяйство*, как говорит. Чтобы следил там *за курицами*. За боровом Гришкой. И муж сначала с радостью едет домой. Но деньги, какие жена выдаёт на жизнь, быстро спускает. И вот уже опять на пороге возник, похмельный, виноватый. «Ну как она, афганец, как?» Не дочь даже беременная, нет – *жана!* Его сразу гонят в комнату няни и начинают там... А что начинают там? Драть за волосы? За остатки волос? Впрочем, это Бог только знал.

«Яйца приходится теперь одни кушать», – говорил он культурно и доверительно за столом афганцу. «Не понял вас, Фёдор Иванович». – «Ну яйца, из-под курей». Яшумов всё равно «не просекал». «Ну даст пятихатку на неделю – и как хочешь. За бутылкой пару раз сбегаешь, и одни яйца потом только кушаешь. В электричке потом – только зайцем. А сюда к вам – как погорелец. Пешком. С пустой котомкой. На метро даже нет». «Не вздумайте денег ему давать, Глеб Владимирович!» – проносилось мимо. А? Афганец? А ты говоришь. «Теперь перед глазами круг с самолётками у меня всё время дрожит. Гальваника». – «Я тебе покажу гальванику! Ну-ка ешь давай!».

Анна Ивановна везде попевала. Когда зять вдруг с испугом начинал смотреть на живот жены (живот, казалось, уже подпёр не только грудь, но и горло) – поспешно успокаивала. С полным правом переходила на ты:

– Ничего, зятёк, ничего, не волнуйся. Как-никак я двоих рожала. Знаю, что и как. Так что... – Сказать как муж: «пер... веселей» – не могла. Искала синоним. Нашла!: – ... так что гляди веселей, зятёк!

Но Яшумов почему-то не очень верил уже в её знания и навыки. И особенно тогда, когда переводил взгляд на мужа её, на Фёдора Ивановича. Который хотя и отощал в Колпино, но по-прежнему ничего не ел сейчас за столом. У которого всё летали «самолётики» в глазах. «Гальванические, афганец, гальванические!»

В интернете вечером долго изучал, как оказать первую помощь беременной. При начавшихся схватках. Что нужно делать домашним, как не растеряться, не упустить время. Момент.

Но странно – везде писалось только о действиях самой беременной. Как она должна дышать при начавшихся схватках, какие положения принимать, чтобы облегчить боль. Даже как следить по будильнику за периодичностью этих схваток и... записывать(!) их. Даже успеть собрать сумку для роддома. С документами, своим полисом. Даже резиновые тапочки не забыть положить! Бутылку воды (без газа)! Даже мобильник. Зарядное устройство! И всё это она – одна. Сама.

О муже, тем более о родителях её – не говорилось ни слова. Нигде. Просто она – самостоятельная родильная машина. Рожаящий спортивный экстремал.

В одном месте, правда, вскользь было сказано, что кроме скорой и такси в роддом её может отвезти и муж. Если у него есть машина. Если он... *адекватен и чувствует себя хорошо*.

Это юмор такой медицинский? Или это всерьёз?

На другой день на работе рассеянно слушал Плоткина и всё думал: а он сам, Яшумов, адекватен? «И будет чувствовать себя хорошо»? Когда жена начнёт стонать, охать и сгибаться? Впрочем, машины своей у него никогда не было. И значит, тест на адекватность и хорошее самочувствие проходить ему не нужно. В роддом жену повезут другие. Адекватные. И в отличном настроении.

Вечером по дороге домой зашёл в супермаркет и выбрал крепкую сумку, типа хозяйственной, с несколькими карманами на молниях внутри и снаружи.

– Где твои документы? – спросил дома у жены.

– Это зачем ещё?

– Ты должна собрать сумку беременной. Вот она, эта сумка. Давай документы. Паспорт, страховой полис, твою обменную карту.

Каменская, показалось, о Сумке Беременной услышала впервые. Однако сразу прониклась к ней уважением. Быстро находила всё и подавала мужу. Муж раскладывал по карманам сумки. От себя добавил купленные резиновые тапочки

и большую бутылку воды. Без газа.

– Для чего?

– Надо. Узнаешь, – закрывал молнии муж. Строго спросил: – По-собачьи дышать умеешь?

– Нет, – испугалась Каменская. – А зачем?

– Чему вас только учат в консультации... Смотри и слушай...

Анна Ивановна и Фёдор Иванович не поверили глазам своим: зять ползал возле тахты и дышал, как бобик в жару. При этом хватался за поясницу, стонал и вскрикивал. Изображал схватки беременной. И снова дышал как обезумевший бобик.

– Поняла?..

На работе ждало приятное событие – с курьером типография прислала сигнальные книги Галины Голубкиной, Михаила Гриндберга и, конечно, Савостина. (Без него же – никак.)

Все сразу окружили Главного. Подсовывали ему книжки. Как маленькому, как имениннику, наперебой объясняли:

– Смотрите, смотрите, Глеб Владимирович! Артур с пулемётом! С пулемётными лентами! Черепок как у неандертальца. Но зато с челюстью! Глеб Владимирович! Гербов постарался! (Гербов прикладывал руку к груди, благодарил.) А это Гали Голубкиной! Смотрите, смотрите! Нормальная обложка. Заливной луг, березовая роща. Солнце светит. Как из Галиной души. А вот Гриндберг, Гриндберг! Миша! Глеб Владимирович! Смотрите!..

Плоткин ликовал. Однако сбегал и чуть не за шиворот притащил Акимова. Тот только хмурился сначала. Потревоженный, выдернутый из кресла. Как известно, просто сосед с грандиозным кабинетом. Ни он никому не мешал. И ему не мешал никто. (Дневать и ночевать в кресле.) Но тоже проникся – принял в руку довольно толстый савостинский том. Покачивал, прикидывал вес. И обложка понравилась. «Только красного, на мой взгляд, много. Крови на ней. Надо было бы убавить», – повернулся к художнику Гербову. Тот только руки развёл: материал, Анатолий Трофимович, материал та-

кой. Мол, против *матерьяла*, сами знаете, не попрёшь. Да уж, пришлось согласиться Акимову.

Никто, конечно, не работал. Уже позвонили Голубкиной и Гриндбергу. На удивление, Гриндберг притащил в сумке шампанское. Целых три бутылки! Сразу начали стрелять, наливать. Сдержанная Голубкина, ставшая неузнаваемой, лезла, целовала Главного. Тот отстранялся, но был польщён. Гриндберг танцевал смурной нелепый танец. Все смеялись. Только Акимов хмурился. Отставил бокал, набрал Савостина:

– Виталий Иванович? Приветствую! (Все разом замолчали.) Вам придётся сегодня сплясать у нас. Книга ваша вышла. Вот она. Я держу её в руках. Подъезжайте. Ждём вас...

Измученный и вдохновенный, в редакции Виталий Савостин увидел картину, которая называлась «Никто не работал».. Все ходили с бокалам, кучковались, смеялись, чокались. Никто даже не повернул голову к вошедшему. Вот козлы так козлы-ы. И как тут быть писателю, автору? Акимов подошёл, сунул шампанское и стал водить как новичка какого, салагу. Чтобы чокались с ним, Савостиным, автором «Войны Артура». Однако один только Колобов похлопал по плечу и чокнулся. Как бы от души: «Молодец, писатель!» Но почему-то опять смеялся. Вот прямо заходился от смеха. Нажрался, что ли, уже?

Савостин хотел было к Главному, с бокалом, ну чокнуться чтоб – тот будто не заметил, отвернулся. Даже плечом будто

опять передёрнул. Как тогда, на сцене. За столом. Вот гад. И всё к Голубкиной своей, к Голубкиной лезет, козёл. Натурально хочет вставить. При всех!..

Когда сабантуй закончился, и благодарные авторы ушли, и Савостин за ними, злой, неоценённый – Плоткин, уже в кафе, опять ликующе сказал:

– Ну всё, Глеб Владимирович, Петуха мы больше не увидим. Никогда!

Однако патрон, закусывая, был скептичен:

– Не знаю, не знаю. На подходе, Григорий Аркадьевич, наверняка уже «Артур 2». А там, глядишь, и «Макс 3» родится.

Смеялись до слёз. До едких слёз. Размахивали над едой вилками.

– А там, глядишь, и другие писатели губернатора подтянутся, – добавил Плоткин. – А, Глеб Владимирович?

И снова закатывались.

Получив бесплатно свои авторские экземпляры, Савостин купил к ним ещё триста штук. И вроде бы и правда из редакции исчез. В последующие дни не появлялся. Но что это навсегда – не верилось. Должен он появиться снова, должен.

3

28-го ноября как всегда обедали в кафе. В плазменном висящем телевизоре показывали Невский проспект. Идущую по нему густую дневную толпу. Снятую с высокого ракурса. Стандартного. Когда кажется, что люди не идут, а толкуются на месте.

Плоткин вдруг сказал:

– Когда вижу столько идущих разом черепушек, мне становится не по себе.

– Это почему же? – улыбнулся Яшумов, отрезая от сосиски.

– Да ведь в каждой сидит целый мир, целая вселенная.

– И что же в этом плохого? – всё улыбался Яшумов.

– Да как «что», как «что»! Ведь все эти мирки в черепушках эфемерны, ненадёжны. Призрачны.

– ?!

– Дадут тебе по башке – и всё. Улетит твой мир, твоя вселенная. И вот представьте теперь, таких черепушек идут сейчас миллионы. Они так же идут сейчас в Буэнос-Айресе, в Нью-Йорке, в Мельбурне, в Шанхае. А? Представили?

– Вы хотите сказать, что жизнь наша ненадёжна, эфемерна, как вы выразились.

– Не жизнь, Глеб Владимирович, не жизнь как таковая. А мирки наши в черепках, мирки, вселенные.

Яшумов задумался. Почему-то неприятно стало от услышанного. «Мирки в идущих черепках». Сказал:

– Что-то вас сегодня не туда повело, Григорий Аркадьевич.

Опять по гололёду возвращались в редакцию. У Яшумова ботинки с толстыми рифлёными протекторами держали лед, почти не скользили. У Плоткина ноги разъезжались, он постоянно сдвигал их, и дальше мельтешил как балерина. И всё же умудрялся курить. Словно помогать себе дымом.

Возле издательства с облегчением бросил окурок в урну. Он дошёл, благополучно. Но на крыльце ноги его вдруг взмыли вверх, и он как-то боком хрястнулся о ступени и скатился на асфальт. Сразу схватился за колено и застонал:

– Вот, накаркал. Черепушка цела, а ногу, кажется, сломал.

Яшумов посадил его. Прямо на асфальте, на льду. Плоткин по-прежнему держал колено и раскачивался.

Яшумов бросился в редакцию за подмогой. Выскочил назад с раздетым Гербовым. Вдвоём подхватили, занесли поджавшего ногу Плоткина на крыльцо, поставили на здоровую ногу и осторожно завели пострадавшего внутрь.

При виде скачущего бой-френда, ведомого под руки, Зиновьева встала и схватилась сзади за стул обеими руками. Точно хотела улететь, исчезнуть.

– Я в порядке, в порядке, – стандартно бормотал ей Плоткин.

Прямо в пальто его усадили в компьютерное кресло (он

сразу развалился в нём), стали вызывать скорую. Набирал в телефоне Яшумов. Остальные склонились над беднягой. Женщины держали его за руки, гладили.

Плоткин больше не стонал, но веки его от боли сжимались.

Зиновьева вдруг стала икать. Отворачивалась, выдёргивала платок, зажимала рот. Но её, как расплывчатый фон, не видели.

Скорая приехала довольно быстро. Плоткина понесли как настоящего пострадавшего – лежащим на носилках. Все редакционные шли вместе с ним, провожали. Где была в это время Зиновьева – неизвестно.

В скорой с больным поехал Яшумов.

В травмпункте сидел в пустом коридоре. На диванчике. Рядом с одеждой Плоткина. Пришлось снимать и верхнюю, и нижнюю. Поддерживаемый санитаром, Плоткин ускакал за дверь без обуви, без брюк, в трусах в цветочек.

Яшумов долго ждал. Вставал, ходил. Рассматривал на стене серьёзных плакатных людей (людей на одно лицо), которые были с переломами ног, рук, с наложенными шинами. Но удовлетворёнными – они получили первую помощь.

Плоткина в трусах вывели. С носком на одной ноге и гипсом по колено на другой.

Традиционный тревожный вопрос из сериала:

– Как он, доктор? Что у него?

Плоткин сидел безучастный ко всему. Обколотый аналь-

гетиками.

– Трещина кости, – ответил врач. – Придётся посидеть ему дома месяц-полтора. Вот вам рецепты и памятка, где написано, как ухаживать за больным, что ему принимать. Купите сразу костыли. В нашей аптеке всё есть.

Яшумов традиционно горячо благодарил врача. Принялся одевать больного. Долго возился со штанами и ботинком, который никак не надевался на здоровую, но безвольную ногу.

Побежал в аптеку на второй этаж.

Плоткин в пальто и вязаной шапке остался сидеть как пьяный – наедине с собой.

Минут через десять Яшумов уже понукал:

– Ну-ка, давайте-ка, Григорий Аркадьевич. Бодренько, бодренько, на одной ножке.

Скукожившийся в пальто Плоткин на костылях висел, но шевелил «одной ножкой» бодренько. Переставлял её по коридору на выход, почти не качаясь. Загипсованная нога торчала из надрезанной штанины белой клюшкой. Яшумов с пакетами лекарств и вторым ботинком в газете метался, страховал.

К Плоткину добирались на такси. Куда с гипсовой ногой еле влезли.

Ида Львовна, увидев сына на костылях, попятилась, но автоматически воскликнула:

– Опять накурился!

– При чём тут это! – истерично пропищал сын. – Я не ку-

рил. Несколько часов, мама!

С ним спорить не стали, забрали костыли, раздели на диване и осторожно отвели в спальню, где и положили на кровать. Несчастный вскоре забылся, свесив здоровую ногу на пол, а гипсовую с подушки нацелил прямо в фотопортрет на стене, где был запечатлён кучерявый мальчишка, который прижал к свой щеке голубя. Гордого голубя с длинным клювом.

На кухне Яшумов пил чай. Рассказывал, как всё произошло. Старая женщина, казалось, не слышала Яшумова. Глаза её с болью метались. Яшумов, как мог, успокаивал. Трогал женщину за руку.

Она заплакала, наконец, в прихожей, когда провожала его, спасителя сына.

– Ну-ну, Ида Львовна. Успокойтесь. Всё будет хорошо. Гриша быстро поправится. Он у вас молодой. Молодой молодец, Ида Львовна.

Старая еврейка зарыдала на груди у молодого мужчины. Относительно молодого...

Яшумов долго стоял на набережной. В Мойке под луной и звёздами кипела чёрная вода.

Повернулся, чтобы идти домой, и увидел Зиновьеву. Лида с Яриком спешила к арке во двор Плоткина. Что называется, тайно, под покровом ночи.

Сам пошёл. В другую сторону. Невольно думал: странно вела она себя сегодня. Когда увидела беспомощного коллегу.

Когда того ташили. Испуг, брезгливость, сострадание – всё разом на побледневшем лице. Очень странные отношения мужчины и женщины.

– Где опять завис? – встретили недовольными словами. – Что на этот раз?

Раздевался. Начал было рассказывать про Плоткина, про его несчастье, про травмпункт...

Но его прервали. Чуть ли не криком:

– А ты обо мне подумал? А? Не о Плоткине – обо мне! Мама с папой в Колпино, режут Гришку, а я тут... а я тут одна... В любую минуту может начаться... – Железная женщина заплакала.

– Ну, ну, дорогая. Успокойся, успокойся. Я с тобой, – обнимал, гладил. Уже вёл в кухню. Усадил на стул: – Какого «Гришку»? Зачем?!

– А вот спроси у старых дураков! «Поедем – и всё. Пора резать. Если что – муж справится. Ты не бойся, доча. Он теперь учёный у тебя. В женскую консультацию ходит, обучается».

– Ну, ну. Успокойся.

В женской консультации и был-то всего один раз. И тут же второй раз с самой Жанной. А колпинцы дремучие уже ехидничают. Но... но что, если бы и правда у жены всё началось. Пока он находился с Плоткиным?..

,Жаром сразу обдало. Даже вспотел. Однако и Анна Ивановна хороша. Вот тебе и «доча» её постоянное. Заботливое,

ласковое. Гришку колоть пора. Резать. Понимаете? Ни дня нельзя ждать. Ножи срочно нужно точить. Сабли для Гришки. А ты справишься, афганец. Справишься. Пер... веселей!

4

Ночью долго не мог уснуть. Таращился в меняющийся от света машин потолок. Жена не храпела. Отвернувшись к стене, казалось, тоже ждала, затаилась...

... – Вы что – сектант? – прямо спросили в женской консультации, куда сам, наконец, пошёл. Пожилая врач в белом халате и шапочке смотрела сердито.

– Да что вы такое говорите, доктор! – Изобразил даже возмущение. Всё время косился на пыточное кресло. На пыточную женскую дыбу. Стоящую всего в двух метрах от стола женщины. Как доказательство. Как громоздкий вещественный диплом профессионала-палача. Вернее, гинеколога. Извините.

– Да ваша жена была всего два раза у меня. Два раза! За девять месяцев! Нам что, за уши её сюда тащить?

Женщина смотрела на некрасивого мужчину с длинными потными волосами. Точно – сектант! Бросила карту с данными Каменской опять на стол:

– Так мы тащить не будем. Сейчас не советское время. Теперь – как хотите. Можете рожать хоть в своей ванной. Головастики в воде разводить. Можете хоть кверху ногами.

Принялся мягко объяснять. Успокаивать возмущенную женщину:

– Понимаете, доктор. Жена очень подвержена влиянию

родителей. Особенно матери. А они у неё – глубоко верующие люди. Ходят не к врачам, а к бабушке. Консультируются, если можно так выразиться. А что уж тот им напевает в уши – можно только догадываться. Поэтому так и получилось. Но я готов исправить всё, готов пройти у вас обучение. И по возможности полное.

– Эко хватились когда! – смотрела врач на оптимиста. На оптимиста с бегающими глазами. Потом стала всё же рассказывать *о действиях мужа* в час икс. Дала брошюру.

– У вас будет мальчик. УЗИ показало.

Обрадовался, ахнул. Благодарил как ненормальный. Хватал её руки, тряс.

– И ещё. Везите жену в восемнадцатый роддом. Это хороший роддом и недалеко от вашей улицы. Тоже в центре. У вас есть родовой сертификат?

– Нет. А что это такое?

– Так, понятно. Сейчас же поезжайте домой и привезите ко мне жену. Со всеми документами, которые у неё есть. В сопровождении бабушек, матушек, кого угодно, но привезите. Немедленно. И деньги. Одиннадцать тысяч рублей.

Сразу выскочил за дверь.

Дома встретили в штыки:

– Да не поеду я никуда! Какие ещё сертификаты! Да ещё одиннадцать тысяч?

Закричал:

– Нет поедешь! И немедленно!

Весь дрожал, чувствовал «испепеляющие молнии из глаз»!

Опустила голову. Сдалась. Стала искать одежду, переодеваться.

В кабинете у гинеколога сидела, как подследственная на допросе, припёртая к стенке. Следователь в белом халате ходила, разоблачала, стыдила. Как и Яшумов час назад, провинившаяся смотрела на гинекологическое кресло. На стул антихриста, как всегда говорит мама. Ладно, хотя бы сейчас не придётся взбираться на него. Осмотрят на кушетке.

После осмотра, после всех наставлений врача, после оформления сертификата и расчёта за него – ждали такси возле здания консультации. Не хотел, но спросил:

– Почему ты не сказала мне, что прошла здесь УЗИ? Два месяца назад? Что будет мальчик? Что он уже есть, Жанна! Почему?

– Ничего я не знаю, ничего я не проходила, – как могла, защищалась Каменская. – Что я скажу теперь папе с мамой? Когда они узнают об УЗИ?

Значит, бегала на исследование втайне от родителей. На «дыбу» они ещё позволили дочери. И то – один только раз. «Слышишь, доча? А уж дальше – ни-ни. Грех!»

Вот такие суеверные идиоты. И дочка такая же...

Всё это было неделю назад.

Опять таранился на чёрный потолок. Ночь тянулась бесконечно...

Толкнули под утро. Когда еле светало. Толкнули грубо. Ногой. Но сразу вскинулся:

– Что, родная, что?

– Кажется... началось...

Лежала на спине, охватив живот. Прислушивалась к себе.

Застонала, повалилась на бок.

– Спокойно, родная, спокойно. – Уже включил ночник.

Уже тянул жену на край тахты, чтобы она села: – Легче будет. Ноги, ноги спусти на пол. – Сунул большую подушку: – Обними и держи. (Отвлекающее ноу-хау Яшумова!)

Сам уже метался по спальне, из настенных шкафов доставал приготовленное бельё жены и два платья. (Им, им приготовленное! Сама пальцем не шевельнула! Всё из-за того же дурацкого суеверия!) Жена послушно сидела с подушкой. Вслушивалась в себя. Знал, что между первыми схватками могут быть перерывы и в полчаса, и в час. Но лучше пусть сидит и слушает. Ноу-хау работало.

Сумка беременной готова, все документы разложены, добавил мобильный и зарядку. Сбегал на кухню, принёс бутылку воды и бутылку сока. Сливового. Всё. Порядок.

– Ну, дорогая, давай потихоньку сходим в туалет и будем одеваться.

– Да зачем одеваться – ничего уже нет.

– Будет. Давай, давай помаленьку. Подушку можешь оставить. И сумку беременной брось. Она не понадобится в туалете.

Осторожно вёл по коридору. Жена в страхе, в ожидании боли передвигалась медленно. Поддерживал, поддерживал, направлял.

Ждал у двери. Вслушивался в песни унитаза. Пытался определить по ним – всё ли в порядке. Обрушила воду и вышла с её шумом, словно бы с большим облегчением. Но тут же сломалась и заохала. Ледяными руками хваталась за мужа.

– Ой, Глеб! Ой! Мне плохо! – Хваталась за свою поясницу, за живот, сгибалась.

Удерживал, как мог, не давал упасть:

– Дыши, дыши, как я учил. Дыши. Часто.

Рванул в прихожую и прибежал с банкеткой.

– Присядь, присядь, родная. Легче будет.

Села. Откинулась к стенке. Словно разом сбросила боль. Тяжело дышала.

Осторожно вёл опять. Вёл в спальню. К одежде, чтобы одеваться. Почему так быстро подошли вторые схватки? В чём дело?

Торопливо одевал. Тёплые чулки ещё куда ни шло, но семейные большие панталоны почему-то не налезали. Никак. Ну-ка встань! Уже командовал. Безропотно поднялась. Натянул панталоны на живот как комбинезон. Для мастера деторождения. Вот так. Остальное всё – пошло легче. И последний штрих – платье беременной. Упало балахоном вниз. Без задержки.

Теперь ждать. Сунул тетрадку, ручку: «Записывай. Периодичность схваток. Ты обязана».

– Ты съехал!

– Да-да. Когда схватки будут через пять-десять минут – вызовем скорую.

Смотрела на тетрадку – и верила, и не верила.

Однако дальше всё пошло не по плану, не по расписанному в тетрадке – уже через минуту жену опять согнуло от боли – она чуть не упала на пол. Опять раскачивалась, стонала.

Так. Только без паники. Не паниковать. Схватил мобильный, быстро набрал номер. Однако кричал на весь дом:

– Скорая? У женщины схватки! Каждые пять минут! Срочно приезжайте! Нам в восемнадцатый роддом! Какой сертификат? Да есть, есть сертификат! Срочно приезжайте! Пишите адрес... Ждём!

Повернулся. С дикими глазами:

– Ну, милая, нам пора на выход. Как говорится, зрители ждут. Давай, давай помаленьку.

В прихожей довольно быстро превратил жену в непрошибаемую тумбу. Поверх пальто – ещё зимних шалей и шарфов накрутил. («Ничего, ничего! На улице минус».) Сам быстро оделся. Схватил пресловутую сумку беременной.

Вывел жену на площадку, захлопнул дверь. Осторожно стал спускаться по лестнице. Подтанцовывал чуть впереди и сбоку. Жанна медленно ставила ноги на ступени, охала, закрывала глаза от боли. Тихомирова влипла в стену, встав на

пуант. Шавка её даже не пикнула, не смогла прорычать своё «ри-и-и».

Во дворе удерживал жену и махал скорой, которая уже ползла вдоль дома.

– Что же ты одел-то её так. Как на Северный полюс. – закантовывали роженицу в скорую два санитары. Объяснял, что на улице минусовая температура, что жене это опасно.

– Ну, едешь, что ли?

Занырнул за санитарями внутрь.

Всю дорогу удерживал жену за руку. За ледяную руку. При схватках сжимал её, старался принять боль на себя, на себя!

В приёмном покое далеко не пустили. «Не мешайтесь, без вас всё сделаем». Жанну уже раздевали две санитарки. За ширмой, но было видно. Сдёргивали одежду, разоблачали как матрёшку. Сразу надели какую-то грубую серую рубаху и охающую в сопровождении медсестры из родильного повезли в раскрытую широкую дверь лифта. Приостановились, закрыли обе половины двери. Поехали.

Стоять на месте не мог. Ходил по довольно большому помещению. Сумку беременной уже отобрали, все данные в книгу приёма внесли. «Вам нельзя здесь больше находиться. Выйдите, пожалуйста, на крыльцо. Ждите там. Вам всё сообщат». Глаза дежурной акушерки были как равнодушные бледные моли.

На крыльце стоял. Потом ходил. Всё время смотрел на ча-

сы в сотовом. Потом, чтобы как-то сдёрнуть время, чтобы выколотить его хотя бы ногами, стал бегать по въезду для неотложек. Туда и обратно. Вверх и снова вниз. Видел смеющиеся лица, наблюдающие из-за стекла за спортсменом. Видимо, цирка такого здесь ещё не видели.

Наконец вышла сама акушерка: «Всё прошло благополучно. Жена родила вам крепкого малыша. Вес 3 330. Завтра можете прийти в регистратуру и всё узнать подробно. Приёмные часы и так далее. Мы вас поздравляем».

Подхватил тощую испуганную женщину, закружил как доску. (За стеклом вообще, наверное, упали.) «Спасибо вам, милая, спасибо!» Расцеловать не решился.

Рванул на улицу. Для зрителей из окна подпрыгнул пару раз, дал антраша. Пусть посмеются, пусть!

Душа, как говорят, ликовала, пела. Домой никак не хотелось. Шёл вдоль Мойки во льду неизвестно куда. Работу сегодня – побоку. Никто ничего не скажет. Сын у Яшумова родился! Сын! Вспомнил про колпинцев. Ах вы мои суеверные! Что теперь вы зятю скажете? Набрал Анну Ивановну. «Анна Ивановна! Внук у вас родился! Долгожданный внук!» В доме в Колпино словно стали падать табуретки, мебель. И тихо стало. И слёзы, и всхлипы пошли. И зятёк ты наш дорогой! Да когда это, когда это случилось? Господи! «Сегодня, 25 ноября, полчаса назад. Жанна чувствует себя хорошо. (Крепкой оказалась.) Ну а внук ваш – прямо богатырь. Три килограмма, триста граммов! Представляете? В общем,

бросайте завтра своего Гришку и утром ко мне. Вместе поедем в роддом. Повезём всяких вкусняшек нашей героине. Соков, фруктов. И возможно, что даже увидим её и малыша. Жду вас!»

Дальше шёл. На душе было всё так же светло. Утреннее солнце тоже сбросило хмарь, смеялось. Встречные люди улыбались. Думали, что пьяный. Или выиграл у Почта Банка миллион.

Опять останавливался и звонил. Первой, конечно, Алёнке в Германию. А потом Ане Колесовой. Жене незабвенного Коли. И оба раза было всё одинаково. Пел себе и жене хвалебные гимны, хоралы. Женщины искренне радовались. Давали всякие советы молодому папаше. Некоторые – не без игривых намёков, не без юмора. И прощались одинаково: «Береги себя, родной. Жду вас теперь троих у себя в Мюнхене!» Это – Алёнка. «Береги себя и сынишку, дорогой! Обязательно встретимся!» Это – Аня Колесова.

Неожиданно обнаружил, что вышел прямо к арке дома Плоткина. Ага! Вот ещё кому нужно сказать! И проведаю болящего, и поделюсь с ним радостью. Ну и с мамой его, конечно, Идой Львовной.

Но не рановато ли будет? Посмотрел на часы мобильного – 8. 20 утра. В самый раз. Смело пошёл на горку, к туннелю.

5

25-го утром Савостин гнал вдоль Мойки в новую редакцию. На вторые переговоры. Где всё подготовил, с козлами тамошними разобрался сам Восковой. Вениамин Антонович.

Неожиданно увидел Яшумова, идущего к арке проходного двора. К арке Плоткина. Сразу резко затормозил и тоже повернул на пригорок.

Уже крался в туннеле, следил.

Гадёныш в дрепездоне своём, с волосьями по плечам шёл по правой стороне туннеля и чуть ли не плясал. Дружка своего шёл навестить, два гада сейчас встретятся.

Савостин вдруг почувствовал небывалый подъём, даже восторг. Глаза полезли на лоб. Он может сделать сейчас с этим гадом всё, что захочет. Может шваркнуть, взорвать. Это игра. Игрушка. Игрушка в натуре.

Савостин стиснул зубы, дал по газам. Рендж Ровер со старта давал 120. Послышался тугой удар, и Яшумов исчез.

Савостин промчался двором, выскочил на параллельную Невскому и полетел.

Савостин что-то кричал. Ударял руль. Как бешеный хохотал...

.2020г